Елена Якобсон

Пересекая границы

Революционная Россия — Китай — Америка

SHOUT
SHARE
IT

- Пересекая границы. Революционная Россия - Китай – Америка
  -
  - О Е.А.Якобсон
  - От автора
  - Вступление
  - ГЛАВА 1 Кубань
  - ГЛАВА 2 Москва
  - ГЛАВА 3 Харбин
  - ГЛАВА 4 Японская оккупация
  - ГЛАВА 5 Тяньцзмнь
  - ГЛАВА 6 Я выхожу замуж за американца
  - ГЛАВА 7 Нью-Йорк
  - ГЛАВА 8 Гордая и счастливая мать
  - ГЛАВА 9 «Голос Америки »
  - ГЛАВА 10 Сергей Якобсон
  - ГЛАВА 11 Университет
  - ГЛАВА 12 Личная жизнь
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

Пересекая границы. Революционная Россия - Китай – Америка

Впервые публикуемые в России воспоминания Е.А. Якобсон (1913—2002) — важный вклад в мемуарную литературу российского зарубежья.

Е.А. Якобсон родилась в Петербурге, воспитывалась няней в родовом имении; детские годы, пришедшиеся на Гражданскую войну, прошли на Кубани. Училась в советской, затем в харбинской школе, юность провела в Китае. Переехав в США перед Второй мировой войной, стала автором учебника русского языка, выдержавшего восемь изданий, основоположницей факультета славянских языков и литератур и инициатором преподавания русского языка в Университете им. Аж. Вашингтона; открыла первую передачу русской службы «Голос Америки»...

Воспоминания повествуют не только об исторических катаклизмах, на фоне которых протекала насыщенная, «полная приключений » жизнь талантливой мемуаристки, но и о становлении незаурядной личности и поисках своей судьбы на чужбине.

Елена Александровна Якобсон

Перевод с английского Е.Ю. Дорман
Консультанты Н.В. Моравский, Л.С. Оболенская-Флам
Перевод выполнен по изданию:
Yakobson H. CROSSING BORDERS: From Revolutionary Russia to China to America. Tenafly, New Jersey: Hermitage Publishers, 1994

Helen Yakobson
Crossing Borders
From Revolutionary Russia to China to America

Москва, Русский Путь, 2004

О Е.А.Якобсон

Вначале мое знакомство с Еленой Александровной было заочным; я много слышала о ней, живя в Нью-Йорке, а она, от той же подруги, — обо мне. «Ну, наконец!» — были ее первые слова, когда мы встретились после моего переезда в Вашингтон в 1973 году, — а следующие слова были приглашением на ужин. С этого момента началось уже настоящее знакомство, перешедшее в дружбу.

Трудно представить себе русский Вашингтон без Елены Александровны и мужа ее, Сергея Иосифовича Якобсона...

Как живо вспоминаю я ужины за их обильным столом и витиеватые тосты, которые любил произносить Сергей Иосифович; их большие рождественские и пасхальные празднества, где можно было встретить «весь Вашингтон», или вечера, на которые они приглашали послушать какого-нибудь интересного человека. А летом — разговоры при свечах на даче Елены Александровны возле океана, куда Сергей Иосифович, не любивший пляжа и вообще опасавшийся природы, наезжал редко, зато она всегда приглашала погостить своих друзей. Поблизости была и моя дача, так что ее гости перекочевывали вместе с хозяйкой на мою веранду. Снова еда, питье и, конечно, разговоры...

Сергей Иосифович был высоким, немного сутулым, типично профессорского вида человеком. Он мог часами простаивать на одном месте за беседой с каким-нибудь, как он, историком, писателем или публицистом, напоминая большого аиста. Таким он запомнился мне на научных конференциях Американской ассоциации славистов, созданной при его живейшем участии. Елена Александровна, наоборот, была небольшого роста, тоненькая, до старости красивая; казалось, никогда не торопилась, но всюду успевала: в университет, где преподавала, на слушания в Конгрессе, если они касались России; при этом хватало времени и с кем-то встретиться, кому-то помочь, кого-то подвезти на машине, сходить на концерт, приготовить ужин, — и все это Делалось весело, с неугасающим чувством юмора.

Было бы неверно думать, что Якобсоны замкнулись только в русской среде; у них был широкий круг знакомых американцев, но русские интересы всегда занимали первое место, в какой бы стране они ни находились.

В Америку СИ. и Е.А. Якобсоны попали разными путями: он родился в Москве, после революции жил в Берлине, потом в Лондоне, наконец, в Вашингтоне, где был заведующим

Славянским и Восточно-европейским отделом Библиотеки Конгресса. Она родилась в Петербурге, после революции попала в Харбин, потом в Тяньцзинь и — перед самой Второй мировой войной — в Соединенные Штаты.

На обложке этой книги фотография Елены Александровны у микрофона — это она открыла первую передачу русской службы радиостанции «Голос Америки» в феврале 1947 года. Спустя три года она переехала в Вашингтон, где по ее инициативе в Университете имени Джорджа Вашингтона была введена программа изучения русского языка. В течение десяти лет она заведовала кафедрой славянских языков и литератур университета. На ее курс сразу же записалось много студентов, изучавших язык в основном по ею же самой написанному учебнику русского языка, который выдержал восемь изданий в Америке.

Выйдя на пенсию, Елена Александровна отредактировала и выпустила в издательстве «Эрмитаж» (Нью-Джерси) воспоминания своей матери, Зинаиды Жемчужной, а затем принялась за свои собственные мемуары, которые закончила незадолго до поразившей ее тяжелой и длительной болезни. Эти книги дополняют друг друга и охватывают в общей сложности почти все XX столетие. При том, что и судьбы, и переживания двух женщин типичны для русской эмиграции, многое в книге Елены Якобсон носит глубоко личный характер.

Об одном она умалчивает: о своей широкой отзывчивости. Когда в 70-х годах в Вашингтон начали приезжать эмигранты так называемой «второй волны», она была неутомима в подыскании им подходящей работы, жилья, медицинской помощи, знакомила с нужными людьми; художникам помогала продавать картины, писателям — находила возможность выпустить книги, давала людям временный приют, а нередко и снабжала их деньгами. Но еще до того, в течение многих лет, Якобсон была бессменным председателем вашингтонского отделения Литературного фонда, организации, основанной в Америке с тем, чтобы оказывать помощь русским писателям в эмиграции. Елена Александровна ежегодно устраивала выступления местных авторов и приезжавших писателей — Б. Филиппова, И. Одоевцевой, Н. Берберовой, В. Солоухина, В. Максимова, В. Аксенова, а также других деятелей — Ю. Любимова, М. Ростроповича и первого российского посла в Вашингтоне В. Лукина. На эти встречи всегда собиралось много народу, а сборы шли на благотворительные нужды. С болезнью Елены Александровны вашингтонский Литфонд прекратил свое существование — заменить ее было некому. Недаром отпевавший ее в вашингтонском храме Св.

Иоанна Предтечи о. Виктор Потапов назвал Елену Александровну «целым институтом».

К ней уже подступила неизлечимая болезнь, когда Елена Александровна попыталась заняться русской версией своих воспоминаний; она сознавала, что, ориентируясь на русского читателя, следовало бы подойти к книге несколько иначе, так как ему не нужно объяснять многих исторических явлений, на фоне которых проходила ее богатая событиями жизнь. Можно пожалеть, что ей так и не удалось осуществить этой авторской версии, но сам факт появления книги в русском переводе я считаю важным звеном в серии мемуарной литературы российского зарубежья и достойным памятником этой незаурядной женщине.

Людмила Оболенская-Флам

Посвящается Натали, называющей себя Наташей, и Денису

От автора

Воскресный обед подходил к концу. Мои новые знакомые — несколько приятных интеллигентных женщин, все моложе меня. Происходило это больше чем за год до знаменательных событий лета 1991 года. Разговор был оживленным, мы касались многих тем, делились мнениями и жизненным опытом. Я заметила, что собеседницы проявляют ко мне особый интерес, и услышала, как одна сказала соседке: «Эта женщина так много пережила...», и ответную реплику: «Как это ей удалось?»

Я была поражена. Как мне удалось преодолеть все трудности? Я никогда не задумывалась об этом, я просто справлялась с различными обстоятельствами по мере их возникновения. И тут вторая женщина обратилась ко мне со странным вопросом: «Миссис Якобсон, кому принадлежат права на вашу жизнь?»

«Моя дорогая, — улыбнулась я, — моя жизнь находится в Божьих руках, и это меня вполне устраивает».

Женщина поспешила объяснить: она хотела лишь сказать, что история моей жизни ее чрезвычайно заинтересовала и ей бы очень хотелось узнать ее побольше. «Я умею слушать, — добавила она. — Вы бы могли рассказывать о вашей жизни, а я бы записала это на магнитофон».

Я задумалась. В то время я уже была на пенсии, хотя по-прежнему деятельно участвовала в двусторонних культурных связях между США и СССР. Дети мои были заняты собственной жизнью. Жизнь этой молодой женщины и других, присутствовавших на обеде, была в самом разгаре — карьеры, браки (или разводы), безусловно — неуверенность в будущем, все то, что я уже оставила позади. Я подумала: «А почему бы и нет?» — и приняла ее предложение. И так в течение следующего года эта молодая женщина каждый вторник, по вечерам проводила у меня по несколько часов и слушала мою историю. Позже я узнала, что в это время ее брак дал трещину; она, вероятно, рада была возможности перенестись в другие времена и страны. Мы подружились. Было записано двадцать шесть кассет, подруга моя благополучно развелась, а я встала перед фактом, что ни мои дети, ни внуки никогда не найдут времени сесть и прослушать все эти кассеты. Отдавать их в чужие руки не хотелось. И стало ясно — я сама должна превратить эту устную историю в рукопись.

Работа над «моей историей» оказалась увлекательным занятием, открывшим мне глаза на многое. До тех пор я никогда не думала о том, насколько тесно мое прошлое связано с моим настоящим и насколько оно определяет мое будущее. Я надеюсь,

что эти личные записи окажутся интересными и нужными читателям так же, как и моей молодой подруге, с которой я встречаюсь до сих пор и которой я очень благодарна.

Вступление

. Большую часть своей взрослой жизни я считала себя жертвой истории. Водоворот событий поглотил мою родную Россию; революция 1917 года и большевистский переворот пошатнули тот привычный мир привилегированного образа жизни и хороших манер, мир, в котором я родилась накануне Первой мировой войны. Последовавшая гражданская война и жестокое преследование и уничтожение большевиками многих тысяч людей, объявленных ими «врагами народа», уничтожили этот мир безвозвратно. Я была еще ребенком, когда в начале 1920-х годов моя семья добралась до Китая, где мы столкнулись с новыми опасностями и трудностями. И только в 1938-м, молодой женщиной, я приехала в Америку и начала новую жизнь.

К тому времени на моей бывшей родине многие из палачей уже сами получили кличку «врагов народа», подвергались арестам и казням. Но беспощадное уничтожение многих миллионов людей продолжалось. Лишь в начале 1990-х годов «красное колесо» истории наконец-то было остановлено, российский флаг опять развевался на Красной площади. Статуя Феликса Дзержинского беспомощно болталась в воздухе перед зданием КГБ на веревке, накинутой новой революцией, и было еще неизвестно, куда эта революция повернет.

Когда «железного Феликса» снимали с пьедестала, вокруг стояли тысячи людей и кричали: «Долой коммунизм!» В августе 1991 года провалилась попытка «старой гвардии» устроить государственный переворот.

За этими и многими другими событиями я следила с замиранием сердца, смотрела на возбужденные толпы людей, молодых и старых, таких гордых своим участием в разгорающейся революции, полных надежд на создание своими силами нового, лучшего общества; потом наблюдала столкновение этих надежд с реальностью при Борисе Ельцине и нелегкие попытки построить работающую капиталистическую экономику. Казалось, что мы вернулись в тревожные предреволюционные годы, смутное время моего рождения...

Я радуюсь освобождению от прежнего сурового режима, разделяю нарастающие надежды этих трудных времен, но сердце мое преисполнено гнева и печали при мысли о всех страданиях, которые претерпели сегодняшние российские граждане и те многие, кто не дожил до этих событий. Мне же удалось спастись, я попала в другой мир. Я больше не принадлежу ни к старой России, родине моих предков, ни к новой, которая на моих глазах

превращается во что-то совсем другое.

Никогда я не отказывалась от своих «корней», не отворачивалась от своего культурного наследия. Наоборот. Результатом моей любви к родному языку и его изучения стали тридцать два года преподавания в университете, создание пяти учебников, и мой голос был одним из первых русских голосов в эфире радиостанции «Голос Америки», где я работала диктором-журналистом. Я продолжаю ходить в русскую православную церковь, высоко ценю и поддерживаю русское искусство и литературу. Однако, пережив войны, революции и общественные перевороты и наблюдая за сегодняшними поворотами колеса истории, я считаю, что от русской катастрофы я не столько пострадала, сколько выиграла. В той старой России меня бы подобающе воспитали и образовали для устоявшегося стиля жизни русского дворянства. Исторические события разрушили привычные устои и предоставили мне возможность стать кем-то другим — самой собой.

ГЛАВА 1 Кубань

Родилась я в Санкт-Петербурге 21 мая 1913 года, накануне Первой мировой войны. Моего отца, врача Александра Жемчужного, правительство направило в деревню для борьбы с эпидемией холеры. Моя мама, Зинаида (урожденная Волкова), молодая и неопытная, осталась одна. Я была первым и довольно долго единственным ее ребенком. Вскоре она отвезла меня в имение своей бабушки Волковой под Воронежем. Мама осталась сиротой в десять лет, и единственным ее домом было это имение. По обычаю женщин ее круга, мама оставила меня на попечение няни и вернулась в Петербург.

Моя няня Аграфена была крестьянкой одной из принадлежащих Волковым деревень. У нее только что умер ребенок, мужа, кажется, не было, и семья ее с радостью отдала Аграфену служить в барский дом. В деревне считалось почетным попасть в помещичий дом на должность ответственную и доверенную.

Воронежские родственники очень обрадовались прибавлению семейства. Веселого спокойного ребенка, туго запеленутого, хорошо евшего и крепко спавшего, передавали из одних любящих рук в другие, как маленький сверток. (Английский антрополог Джефри Горер уверял, что именно пеленание является истинной причиной того, что русские приняли коммунистическую диктатуру так покорно.)

Когда я выросла из пеленок и начала исследовать мир, Аграфена оставалась постоянно со мной, окружая меня своей любовью и заботой. Она рассказывала мне разные истории и сказки, слышанные ею в собственном детстве, пела грустные крестьянские песни и учила первым молитвам. Аграфене, простой крестьянке, нелегко было привыкнуть к жизни в помещичьем доме и взять на себя заботу о ребенке «благородного происхождения». Иногда моя прабабушка делала ей замечание: «Ну, Аграфена, не забывай, чей это ребенок. Следи за ней как следует!» И она следила... Маленькие девочки носили тогда накрахмаленные платьица с оборками, волосы их аккуратно укладывали в кудри и завязывали лентами. Не разрешалось играть во дворе с детьми слуг или бегать по комнатам огромного дома.

Мама навещала нас и, считая себя современной эмансипированной женщиной, протестовала: «Аграфена, не возись так с ее одеждой. Пусть побегает и поиграет с другими детьми». Но после ее отъездов няня, с одобрения прабабушки,

вновь надевала на меня «приличную» одежду и восстанавливала прежние нормы поведения. Я была послушным ребенком (возможно, пеленание все же оказало на меня определенное влияние!) и нисколько не сомневалась, что няне обязана повиноваться.

В 1914 году началась Первая мировая война, и мой отец вступил в армию в качестве офицера медицинской службы, а мама — сестрой милосердия в один из петроградских госпиталей. Наши войска терпели неудачи; в Петрограде, тогда все еще российской столице, происходили беспорядки. Улицы Петрограда захлестнули мятежные толпы, протестующие против способа ведения войны и требующие отречения Николая II.

Мама не получала регулярных известий от отца и к тому же начала сомневаться в целесообразности своей добровольной работы в госпитале. Будучи независимо мыслящей современной женщиной, она решила, что может найти себе более полезное занятие и жить собственной жизнью. Имея университетский диплом биолога, мама согласилась на место учительницы на юге Российской империи, в районе Кавказа. Она должна была преподавать естественные науки в новой школе в маленьком городке около Екатеринодара, центра преуспевающей общины кубанских казаков.

Казаки происходили от наемных «солдат удачи», беглых крепостных и тому подобных людей, осевших в мало населенных деревнях среди жителей приграничной полосы. Цари даровали им свободу и земли в обмен на защиту границ Российской империи. Донские казаки, например, поселились вдоль границы по реке Дон. После революции 1917 года группа эмигрантов организовала хор и танцевальный ансамбль донских казаков, с огромным успехом гастролировавший по всему миру. Вдоль Урала тоже жили казаки, как и на Тереке — восточных рубежах Кавказа. И хотя границы России к XIX веку расширились и отодвинулись от казачьих поселений, казаки сохранили свои свободные и цветущие сельскохозяйственные общины.

После отречения Николая II в 1917 году донские казаки остались верны Временному правительству Керенского и воевали против большевиков до самого конца Гражданской войны, то есть до начала 1920-х годов. Победившая Красная армия сурово обошлась с ними: многие были казнены сразу, другие отправлены в лагеря. Их земли и имущество конфисковало коммунистическое государство. Во время Второй мировой войны некоторые казаки устраивали диверсии против коммунистов, а другие вербовались в немецкую армию

и воевали в ее составе. В конце войны они сдались союзным войскам, но, в соответствии с Ялтинским соглашением, были переданы советской стороне. Те же, кто смог избежать выдачи, разбрелись по свету и организовали свои общины, но старое поколение умирает, и скоро останутся только их песни и воспоминания.

Ранней осенью 1916 года прабабушка со слезами благословила мою мать уехать на юг. Это было разумным шагом. Таким образом мы спасались от беспорядков, которые к тому времени распространились и на русскую провинцию. Помещики уже не чувствовали себя в безопасности в своих имениях, и все больше разговоров велось о революции и гражданской войне. Мама, Аграфена и я покинули бабушкин дом с тем, чтобы больше никогда в него не вернуться.

Мы поселились в удобном доме в маленькой станице под названием Кореновская. До школы можно было дойти пешком. Вместе с нами в доме жила Вера, учительница немецкого языка, хорошенькая местная девушка, ставшая членом нашей семьи.

«Тетя» Вера учила меня немецким словам и водила в свой класс. Но няня оставалась моей главной руководительницей, и мы с ней по-прежнему каждый день проводили по несколько часов в местной церкви. Это была красивая церковь, с высоким куполом и фресками, изображающими жития святых и библейские сцены. Богатая казачья община щедро жертвовала на церковь: на иконах блестели серебряные и золотые оклады, множество свечей и лампад горели днем и ночью. Я повторяла за няней одну или две молитвы, а потом садилась на край скамьи и рассматривала изображения и иконы, придумывая о них свои собственные истории. В церкви было темно, прохладно и безопасно. Иногда мы ходили на вечерние службы и никогда не пропускали воскресные литургии и праздники. Хотя мама моя не была особенно благочестивой и в церковь ходила нечасто, она отмечала все традиционные русские церковные праздники и не препятствовала няне брать меня с собой в церковь.

Жизнь вошла в удобную колею. Отец был где-то далеко в армии, но маме нравилась ее работа, она подружилась с другими учителями, в большинстве своем молодыми выпускниками университета, энергичными и полными надежд. Местная интеллигенция горячо приветствовала Февральскую революцию и образование Временного правительства во главе с Александром Керенским. Казаки же были осторожнее, известие об отречении царя не все восприняли радостно, но и они поддерживали Временное правительство. Большевистская контрреволюция в ноябре явилась для всех неожиданностью, но Москва и Петроград

были так далеко, что можно было надеяться на то, что новое правительство про нас забудет и никого здесь не потревожит.

Однако довольно скоро мирная станичная жизнь закончилась. Домой из армии стали возвращаться казаки, принося с собой вести о беспорядках и хаосе. Мама не имела никаких известий из Воронежа, почти ничего не знала об отце. Рассказы о поджогах помещичьих усадеб, арестах помещиков и осквернении церквей вселяли беспокойство и страх. В стране началась Гражданская война, неумолимо двигавшаяся к югу, появились слухи о зверствах Красной армии. Казаки, все еще верные правительству Керенского, вступили в Белую армию. То же сделал и мой отец.

Гражданская война длилась около четырех лет. Сначала белым помогали союзники, но Европа сама была изнурена длительной войной, и если бы даже правители союзных стран захотели по-настоящему поддержать правительство Керенского, они бы столкнулись с серьезной оппозицией в своих странах.

Коммунистическая пропаганда представляла большевистский переворот ***истинной*** революцией — священным символом борьбы народа с тиранией. Это напоминало революции прошлого: красные боролись за братство, равенство и справедливость против деспотизма царей. (Тот факт, что Николай II больше не правил Россией, казалось, не имел уже никакого значения.) Коммунизм был интернациональным явлением, и Ленин мечтал о мировой революции. Его утопическую мечту о мире, свободном от всех зол прошлого и настоящего, разделяла значительная часть интеллигенции. В Соединенных Штатах большевистская революция нашла немало сторонников. Западные интеллектуалы довольно долго жили этой мечтой и отказались от нее только тогда, когда удостоверились в том, что новый режим «не работал». Увы, это произошло слишком поздно, чтобы помочь Белой армии!

После развала русско-германского фронта в 1917-м мой отец сумел добраться до Кореновской. В доме у нас все сразу стало как-то по-другому. Одетый в офицерскую форму с золотыми пуговицами, высокие блестящие сапоги (няня чистила их каждое утро), с пахнущим кожей ремнем, с громким голосом, он сразу стал центром всей нашей домашней жизни. Мама от него не отходила, я слышала, как они разговаривали и смеялись до глубокой ночи. Я не очень понимала, кто этот восхитительный человек: слово «отец» очень мало для меня значило, я ведь почти не видела его за свою пятилетнюю жизнь. Но я была им очарована и очень огорчилась, когда он уехал, тем более что с ним уехала и мама. Школа закрылась: старшие уходили на войну, а мальчикам

и девочкам нужно было работать на хуторах.

Мама отправила Аграфену и меня на дачу у Черного моря, около Сочи. Дачей оказалась великолепная вилла на холме у подножья Кавказских гор, с потрясающим видом на Черное море. Несколько ступенчатых пролетов вели вниз, к каменистому пляжу. Было много роз всевозможных цветов и сортов, но к нашему приезду розарий уже превратился в джунгли, а дом стоял заколоченным. Владельцы его бежали в Европу сразу после революции. Сторож открыл дом и предоставил часть его в наше распоряжение.

Ни соседей, ни магазинов в ближайшей округе не было, но торговцы приходили прямо в дом и предлагали фрукты и овощи. Сторож и его жена обрадовались обществу моей няни и в свою очередь скрашивали наше существование. После обеда они подолгу пили чай в саду, в тени огромной акации.

И вот, пяти лет от роду, я впервые в жизни оказалась на несколько часов предоставленной самой себе. Пользуясь новой для меня свободой, я спустилась по ступенькам к морю. Аграфена не любила ходить на пляж, где царили маленькие темные мальчики, армяне или, может быть, греки из ближайшей деревни. Некоторые из них, совершенно голые, плескались в воде. Они позвали меня присоединиться к ним, и я, нисколько не раздумывая, вылезла из своего накрахмаленного платья и вошла в море. Это было восхитительно. Потом мы лежали на солнце, чтобы обсохнуть, бегали и лазили по камням.

Мальчики были для меня откровением. Никогда раньше я не видела голого существа мужского пола и думала, что все устроены так же, как и я. А тут вдруг разница — необыкновенный отросток, позволявший им так удобно писать! Фрейд был прав: существует-таки зависть к пенису! Няне я о своих приключениях не рассказала, а она слишком была занята собственными заботами и не заметила мое мятое платье и поцарапанные коленки.

Аграфене приходилось нелегко. Одна, вырванная из привычного уклада жизни, ответственная за ребенка «благородного происхождения», в атмосфере слухов о победах красных и их продвижении на юг... Сторож рассказывал, что в окрестных горах появились бандиты, называемые «зелеными», которые совершают набеги на деревни.

Аграфена была чрезвычайно благочестивой. Напуганная и одинокая, она все чаще и чаще молилась в маленькой домашней часовне, вовлекая в это занятие и меня. Я часами стояла на коленях перед алтарем, зачарованная множеством икон на стенах — суровыми темными ликами святых и прекрасным Христом с

рукой, поднятой для благословения. Служб не было, не было и священника. Мы были одни с Богом Отцом, смотрящим на нас и нас охраняющим.

Хотя церковь давала ощущение безопасности, все было не так просто. Бог защищал меня, и мой ангел-хранитель тоже, но были и другие силы. Дьявол и его слуги таились в темноте, готовые в любую минуту ввести в искушение и превратить меня в «плохую девочку». В представлениях

Аграфены существовала четкая организация: Бог Отец и сонм Его верных служителей — архангелов, херувимов и ангелов-хранителей, а также враги — дьявол и его помощники, охотившиеся за нашими бессмертными душами.

Дьявольская армия бесов, больше похожих на домашних чертиков, только и занималась тем, что старалась сбить меня с праведного пути. «Они» увлекали в сторону от должного поведения и исполнения обязанностей, заставляли забывать молитвы и хорошие манеры. Это были небольшие проступки, но, собранные вместе, они вели прямо в ад. Все это не было для меня чем-то абстрактным, отвлеченным. Нет, «они» были настоящими существами и, хотя «их» нельзя было увидеть, оставляли достаточно доказательств своего деятельного присутствия: например, вдруг пропадал башмак или носок, хотя я точно знала, что оставила их у кровати, или вдруг я говорила то, чего вовсе не хотела сказать, — плохие слова, никогда не произносимые «хорошими девочками».

Силы эти окружали нас со всех сторон, и мы должны были бороться с ними ежеминутно. Каждый вечер перед сном мы совершали маленький обряд: осеняли крестным знамением все окна, дверь, наши кровати и даже пространство под кроватями, это должно было сделать нашу комнату безопасной. Утром обряд был проще — прочитать все утренние молитвы и пообещать делать все «правильно». И все было хорошо, пока я оставалась внутри магического круга, читала молитвы, слушалась няню, ела все, что давали, и пользовалась салфеткой. Но когда переступала черту, тут же следовало возмездие. Нет, Аграфена меня не ругала и не наказывала, но если я что-то делала не так, можно было быть уверенной, что «они» это заметят. И вскоре после такого «нарушения» я могла упасть и сильно удариться или не могла найти нужную игрушку.

Мы жили в заколоченном, долго пустовавшем доме и по ночам слышали таинственные звуки — сильный порыв ветра колыхал занавески и нам чудился шепот или скрип половиц, как будто кто-то шел по коридору к нашим комнатам. Иногда в горах случались сильнейшие грозы, завывающий ветер валил деревья, и

они с грохотом падали на землю. В такие минуты Аграфена запирала дверь и опускалась на колени, истово молясь и искренне ожидая конца света. Каким-то образом я все это пережила, и когда за нами приехала мама, она очень обрадовалась, найдя меня окрепшей и загорелой. Что знала она о мире духов или о трудностях жизни на поле боя между силами добра и зла?

Гражданская война пришла на юг, и за Екатеринодар, где мы оказались, постоянно боролись обе армии. Город то захватывали, то освобождали, то опять захватывали — десятки раз! Мама говорила Аграфене, что в случае прихода в город красных она должна выдавать меня за свою дочь, ведь красные не щадили детей вражеского «правящего» класса.

Всякий раз, когда начинались бои за город, Аграфена говорила мне одни те же слова: «Одевайся! Бери куклу! Мы идем в амбарный погреб!» Осенив крестным знамением порог, она вела меня к большому амбару, где хранили кукурузу, и мы спускались в подвал, где пережидали вместе с другими горожанами бои за город, которые длились иногда больше одного дня. В конце концов мы вылезали наружу и спрашивали, кто же нас завоевал в этот раз...

В амбаре хранили кукурузу — горы разноцветных кукурузных зерен. Я зарывалась в них или забавлялась тем, что выбирала самые красивые красные или желтые зерна, раскладывала их в форме бус или даже воображала, что это — солдаты, выстраивала красных на бой с желтыми...

Мы, дети, знали, что взрослые беспокоились и боялись, но нас происходившее на улице не занимало и не касалось. Мы уютно устраивались спать на холмах кукурузных зерен и вовсе не скучали по настоящим кроватям или по дому. Когда поступал сигнал о том, что можно выходить, мы брали свои вещи и шли на улицу. Там нашим взорам представали жестокие и ужасные сцены. Трупы людей и лошадей, лужи крови, странные запахи, стоны и крики раненых и умирающих, кучки людей, бродящих, как во сне... Но я не боялась. Я крепко держалась за руку Аграфепы, которая тихо говорила: «Пожалуйста, смотри, не наступи» или «Осторожно, не споткнись об этого человека».

К счастью, я не понимала, что значит быть раненым или мертвым. Почему люди так обращались друг с другом? По правде говоря, на меня сильнее действовала смерть животных. Помню, как с земли на меня смотрели огромные глаза раненой лошади. И я почувствовала ее боль! Я умоляла Аграфену принести лошади воды.

Иногда, приезжала мама, а когда город оказывался в руках

белых на более или менее продолжительный срок, появлялся и отец. Золотые пуговицы на его мундире потеряли блеск, сапоги были заляпаны грязью, и они с мамой почти не смеялись, когда разговаривали. Мы так привыкли к пушечным и ружейным выстрелам, что, не слыша их, пугались тишины.

И вдруг для нашей семьи настала странная мирная передышка. Отец был теперь офицером кубанского кавалерийского полка. Он получил почетный статус казака, и семья его сослуживца, казачьего офицера Зозули, приняла его как родного. Долгие месяцы они вместе воевали с красными в Центральной России и стали настоящими «побратимами».

Отец очень гордился своей принадлежностью к казачеству и всю жизнь хранил казачью офицерскую форму (черкеску), шашку и кинжал. Он любил говорить: «Мы, казаки, — гордые люди, мы ничего не боимся». В сборнике рассказов, который он потом опубликовал в Китае, отец ярко и с любовью писал о Кубани и своих братьях-казаках. Память о его родном доме в Ярославле — городе, где он родился в семье провинциального врача, — казалось, совершенно стерлась. Я никогда не слышала, чтобы он рассказывал о своем детстве, родителях, братьях и сестрах.

Позднее, в Москве, я очень удивилась появлению тети Сони, одной из сестер отца.

За Екатеринодар (при советской власти переименованный в Краснодар), удерживаемый красными, бои шли более полутора лет. Борьба была очень жестокой, но все же к августу 1918 года совместными усилиями Белой армии и кубанской кавалерии город был взят и попал под власть кубанского областного правительства.

5 декабря 1918 года это новое правительство выпустило следующее заявление:

«Перед кубанскими казаками, черкесами и всем местным населением Кубанского края стоит задача обеспечить безопасность своей территории собственными силами. Отсутствие единства в русском имперском правительстве, продолжающаяся анархия в центральных областях России и безуспешные попытки правительства восстановить порядок заставляют население Кубани рассчитывать лишь на собственные силы и средства для поддержания порядка в крае. В будущем Россия должна стать Федеративной республикой свободных народов и территорий, и Кубань войдет в ее состав. Но в настоящий момент Кубанский край будет управляться административными органами, выбранными народом, и будет содержать собственную армию, служба в которой обязательна для всех жителей края».

Екатеринодар, когда-то тихий провинциальный город, теперь был заполнен беженцами из Центральной России. Беженцы эти были людьми богатыми и занимали высокое положение в обществе: дипломаты, промышленники, купцы, высшие военные штабные чины (их золотые пуговицы по-прежнему блестели, а сапоги были отлично начищены). Для них Екатеринодар представлял собой лишь перевалочный пункт на пути к Черному морю и через него — за границу. Пароходы союзников перевозили в Европу тех, кто мог заплатить за проезд. В Екатеринодаре открылись театры, кафешантаны и рестораны. В город приехали многие известные московские и петербургские художники, актеры и музыканты. Настроение было жизнерадостным: эти люди отказывались воспринимать реальность. Им хотелось забыть то, что с ними произошло; они верили, что как-нибудь все устроится и они вернутся к прежнему образу жизни.

Спустя годы я прочитала книгу моей матери «Пути изгнания»[1] и узнала, что местные жители смотрели на этих приезжих, особенно на белых офицеров, с горьким чувством, потому что те проводили ночи в пьянстве и разгуле в то время, как другие воевали. Мама описала снобизм штабных офицеров, их высокомерное отношение к казакам. Она считала, что поражению Белого движения способствовало, в частности, и неуважение со стороны русских штабных генералов по отношению к независимым и гордым казачьим офицерам. Казаки справедливо задавались вопросом: «Почему мы ведем эту войну, кормим и содержим русскую Белую армию?» Но в 1918 году еще не было открытого разрыва с центральным командованием и надежда на победу над Красной армией еще не умерла.

Отца назначили заместителем министра здравоохранения в кубанском краевом правительстве. Мы переехали в большой кирпичный дом, где уже жила одна семья. Моя жизнь в корне изменилась. Раньше были только Аграфена и я. Теперь же я стала членом «семьи», моя няня — «прислугой», а в доме всем командовал мужчина, мой отец. Мама не работала и пыталась проводить со мной больше времени. И даже отец находил возможность уделить мне внимание!

Однажды он спросил: «Хочешь пообедать со мной в городе?» Он решил повести меня в ресторан, но сначала распорядился, чтобы мне обрили голову. Недавно приехав с фронта, где вши были самым обычным делом, он объявил длинные волосы «негигиеничными». И, к ужасу моей бедной няни, его распоряжение было исполнено. Отец сам отрезал мне волосы, сначала ножницами, а потом машинкой. Аграфена плакала, а я выдержала процедуру в полном молчании. Отец также велел

изменить мою форму одежды — никаких накрахмаленных платьев, вместо них — шорты или панталоны и майки. От «маленькой принцессы» не осталось и следа, я превратилась в маленького худенького «мальчика».

Мы пошли в шикарный ресторан, только он и я. Подошедший к нашему столику официант спросил: «А что будет заказывать молодой господин?» Я смутилась, но мне было приятно, что меня приняли за мальчика. Я сидела с отцом в ресторане, как мужчина с мужчиной! Но вскоре отец полностью погрузился в свою новую работу, и я перестала быть объектом его внимания. Его послали во Францию закупать медикаменты. Мама хотела ехать с ним, но не успела вовремя получить необходимые документы и отправилась провожать его до одного из черноморских портов, оставив нас с Аграфеной одних — в полном покое.

Я скоро подружилась с соседскими детьми — мальчиком примерно моих лет (шести или семи), его сестрой, года на два старше, и их старшим братом, который обычно в наших играх не участвовал. Мы весело проводили дни в большом дворе, надежно защищенном высокой прочной стеной. Как во всех южных городах, во дворе росли прекрасные фруктовые деревья и высокие акации с душистыми белыми цветами. Весной все цвело и поспевали вишни и сливы, мы срывали и ели их прямо с веток. Когда же на землю падали цветы акации, весь двор покрывался душистым белым ковром.

Одной из излюбленных игр были «птицы». Мы строи-, ли гнезда, собирая опавшие цветы в большие кучи и устраивая в середине уютную постель. Старшая девочка была

нашей «мамой». Она «летала» по двору в поисках пищи для своих «птенцов», а мы сидели в гнезде и чирикали. Иногда она изображала «маму», а мы с Анатолием — «мужа и жену». Мы все жили вместе в одном большом гнезде. Правда, это было не так весело, потому что «мамаша» была властной и вовсю командовала нами. *Я* говорила Анатолию: «Если ты мой муж, то должен построить отдельное гнездо и мы не будем жить с твоей матерью. Если ты этого не сделаешь, ты мне больше не муж и я построю себе собственное гнездо».

Анатолию было нелегко спорить с сестрой (тем более что после игр он шел с ней домой!), но ему нравилось быть моим «мужем». Так что мы трое вели бесконечные «переговоры».

В нашем дворе стоял огромный сарай, с одной стороны там было сложено сено, с другой — привязана корова. Беспрерывно жуя, она с полным равнодушием смотрела, как мы кувыркаемся в сене.

Отец вернулся из Парижа и привез много подарков маме, а

мне — куклу. Меня поразила красота куклы, но я оставила ее сидеть в углу комнаты. Почему-то я никогда особенно не любила играть в куклы. Мама пыталась учить меня читать, но особого интереса у меня это не вызывало. Буквы я выучила быстро, но истории, которые я придумывала сама, казались мне гораздо интереснее тех, что в книгах. Мама не настаивала. Во-первых, у нее было много общественных обязанностей, а во-вторых, она была беременна.

Я не особенно следила за жизнью своих родителей и чрезвычайно удивилась, когда родилась маленькая сестренка. Она была ребенком моих родителей, они были «семьей», а ко мне это не имело никакого отношения. Няню это событие не обрадовало, ибо теперь предполагалось, что она будет помогать маме заботиться о младенце в дополнение к уходу за домом, коровой и... мной!

К 1921 году военная фортуна отвернулась от белых и Екатеринодар опять перешел в руки красных. Отец уехал из города вместе с другими членами кубанского правительства и вернулся в свой кавалерийский полк. Они отступили в горы, намереваясь укрыться в соседней Грузии. Однако новое самопровозглашенное грузинское правительство, под жестким давлением советского правительства, отказало казакам в убежище и не разрешило войти на свою территорию. Белая армия гибла под непрерывными атаками красных. Пришла пора признать поражение. Кубанская кавалерия сдалась Красной армии. Всех офицеров арестовали. Некоторых расстреляли на месте.

Отца пощадили потому, что он был врачом. Его привезли обратно в Екатеринодар (теперь уже Краснодар) под конвоем и заставили работать в городской больнице. Ему разрешили навестить семью, но скоро переправили в Москву для работы по специальности в московской ортопедической больнице. Маме тоже грозил арест, но ее спасло то, что на руках у нее был маленький ребенок. Ее пощадили и даже пообещали помочь переехать в Москву и соединиться с отцом.

Жизнь в Краснодаре изменилась. Закрылись театры, рестораны и кафешантаны. Улицы погрузились во мрак, а люди предпочитали сидеть дома. Происходили бесконечные обыски домов и квартир, аресты. Однажды и в наш дом ворвалась группа грубых людей с винтовками за плечами. Почти не замечая нас, они набросились на мебель, тыкали штыками в матрасы и обивку стульев. Они выдвинули все ящики, разбрасывая по полу их содержимое. Соседи предупредили маму, что к нашему дому идут с обыском, и она успела спрятать несколько драгоценностей в

канделябр в столовой. Мне было велено не смотреть на этот канделябр, чтобы не привлекать внимание.

Как странно! Когда говорят, что чего-то нельзя делать, безумно хочется сделать именно это. Невольно мои глаза все время обращались к канделябру, пока Аграфена не взяла меня на руки и не прижала мою голову к своей груди. К счастью, они не нашли драгоценностей, которые пригодились потом — их продали, а деньги пошли на еду и на сено для коровы. Правда, мама и Аграфена нередко вовсе не ели. Мама говорила: «У нас хотя бы есть корова, и у детей есть молоко».

Не хватало всего. Нам выдали карточки, и мы должны были выстаивать длиннющие очереди и покупать то, что оказывалось в магазине на тот момент. Однажды Аграфена попросила меня занять место в очереди, пока она будет заниматься другими делами, и дала мне карточки. Я стояла в очереди довольно долго и вдруг заметила, что в руке у меня больше нет карточек! Это было очень серьезно. В отчаянии я обшарила свою одежду и землю вокруг меня, но карточки пропали. Я разрыдалась. Все в очереди понимали, какое со мной стряслось несчастье.

Когда вернулась Аграфена, она сразу поняла, что делать. Идя вдоль очереди, она говорила: «Кто взял карточки у моего ребенка? Признавайтесь, именем Нашего Отца Господа Бога, Который видит все на земле и накажет грешника, взявшего карточки у маленького ребенка! Вы видели, кто взял карточки?»

И действительно, в конце концов кто-то указал на одного мужчину. Он смущенно вернул наши карточки и быстро скрылся. Аграфена очень сердилась на меня: «О чем ты только думала? Почему не следила за карточками?» Я так была рада возвращению карточек, что совсем не возражала и не защищалась.

Мама больше не была той красивой, хорошо одетой женщиной, к которой я привыкла; на ее бледном лице появились морщинки, она очень похудела. Однажды я смотрела, как она стояла перед зеркалом и пыталась расчесать и уложить свои чудесные светлые волосы. У нее ничего не получалось, и в конце концов она бросила это занятие и надела платок. И тут я почувствовала прилив любви к ней и беспокойства за нее — я начала понимать, что и она уязвима.

Иногда мама и Аграфена, уходя в город, чтобы что-нибудь продать и купить, оставляли меня приглядывать за младенцем. И хотя сестренка была хорошеньким и забавным существом, я ненавидела с ней оставаться и порой серьезно обдумывала, не выбросить ли ее в кусты или обратно туда, откуда она предположительно появилась, — на капустную грядку.

Отец и старший брат Анатолия уехали из города, но сам он,

его сестра и я продолжали играть в «птиц» и кувыркаться в сене. Мы даже устроили гнездо на вишневом дереве. На фоне важных политических событий, таинственных появлений и исчезновений мужчин наших семейств и постоянных тревог матерей о том, как прокормить детей и что со всеми нами будет дальше, у нас было беззаботное счастливое детство.

Вскоре, однако, пришло известие от отца. Он просил маму приехать с семьей к нему в Москву. Мама и Аграфена приложили героические усилия, чтобы достать необходимые документы, продать имущество и таким образом выручить деньги на поездку и получить места в поезде. Поезда ходили не по расписанию, иногда и вовсе не ходили, а если вдруг отправлялись, то их брали штурмом. Тем не менее эти две женщины сумели все удачно устроить, и мы собрались в дорогу.

Анатолий очень расстроился и хотел получить гарантии, что останется навсегда моим «мужем». Хотя мы теперь расставались, он пообещал когда-нибудь меня отыскать. Я, вероятно, не отреагировала на это с достаточным энтузиазмом, потому что он так расстроился, что выпал из нашего гнезда на дереве и его увезли в больницу. Вернулся он оттуда с эффектным бинтом на лбу. Это произвело на меня такое впечатление, что я разрешила ему всегда быть моим мужем.

Поспешное обещание! Много лет спустя, выйдя замуж, я вспомнила Анатолия и, к немалому своему удивлению, ощутила легкое чувство вины. Но я никогда его больше не видела и ничего о нем не слышала.

ГЛАВА 2 Москва

Ранней осенью 1922 года вместе с несколькими другими семьями мы ехали в товарном вагоне — это был единственный способ добраться до Москвы. Хорошо еще, что нам разрешили взять с собой вещи. В вагоне не было ни столов, ни скамеек, только вдоль стен были наскоро сколоченные полки, на которых люди спали или складывали вещи. Чемоданы и ящики заменяли мебель — кровати, столы, стулья. Моя маленькая сестра спала в одном из ящиков, мама, Аграфена и я — на полу. Еду готовили прямо в вагоне на керосинках.

Иногда поезд останавливался и часами стоял в чистом поле. Мы открывали дверь и выпрыгивали наружу — размяться и подышать свежим воздухом. В вагоне были и другие дети, я играла с ними в мяч или просто бегала, не обращая внимания на окрики взрослых: «Не убегай далеко!», «Не отходи от поезда!», «Немедленно вернись!».

Иногда поезд стоял у пшеничного или картофельного поля, и люди старались выкопать побольше картофеля и собрать зерна. Еды было мало. Когда же поезд останавливался на какой-нибудь станции, мама посылала Аграфену купить хоть что-нибудь из съестного. Трудно было представить себе, что мы едем по Украине, совсем недавно еще богатейшему краю. Везде были следы разрухи, принесенной Гражданской войной. Все, с кем мы разговаривали, рассказывали печальные истории. И не было хлеба...

Сбившись вместе в товарном вагоне, мы ехали навстречу неизвестности. Прошло три дня, пять, шесть... В набитом вагоне воцарился дух известного товарищества. Все здесь много выстрадали и многое потеряли. Наши попутчики очень хорошо относились к моей матери и, кажется, ее жалели. «Подумать только! — качали они головами. — В такое время завести ребенка!»

Аграфену так не жалели. Они, наверно, думали: «Ну, она крестьянка, ей не привыкать». А я ее очень жалела. Я считала ее своим самым надежным источником силы и поддержки. А в том, что Бог хранит мою мать, я не была уверена, потому что никогда не видела ее молящейся. Мама казалась слабой, ранимой и одинокой, так волновалась о маленькой сестренке...

В конце концов дней через десять или больше мы все же добрались до Москвы, где нас встретил отец. Мама упала к нему на грудь и разрыдалась. Путешествие закончилось. Мы выжили!

Отец привез нас в двухкомнатную квартиру своей старшей

сестры. Тетя Соня жила с мужем и десятилетним племянником. Мне велели быть поосторожнее, потому что мальчик «трудный». Для меня это значило «сумасшедший». Аграфена уже мне говорила, что странное поведение — признак того, что дьявол овладел телом и душой человека. Я не осмеливалась к нему и приблизиться! Спать разместились, где смогли: на диванах, на креслах и на полу. Сестренка осталась в своем ящике.

К счастью, здесь мы пробыли недолго. Тетя Соня и мой отец не были близки; она явно не радовалась неожиданному вторжению родственников. Аграфену отправили в деревню навестить семью, и я впервые осталась без нее, в состоянии постоянной скрытой паники.

Наконец мы переехали в собственную квартиру в четырехэтажном доме, бывшем великолепном особняке какого-то аристократического семейства. Бальную залу на первом этаже и другие апартаменты разделили на коммунальные квартиры. На каждом этаже были одна общая уборная, одна ванная и общая кухня на шесть или семь семей. А всего в доме разместилось не менее ста человек.

Наша квартира располагалась на первом этаже, занимая часть бывшей залы. У нас было две комнаты с очень высокими потолками и вычурными карнизами. В одной комнате мои родители устроили нечто вроде гостиной: одна кровать поднималась и прислонялась к стене, превращаясь в обитую материей спинку, а другая ставилась вдоль стены, и получался диван. Кровати покрывались кавказскими коврами и подушками, привносящими ноту восточной роскоши. Около окна стоял большой стол, и скоро появилось пианино. Откуда взялись все эти предметы, я не знала.

Вторая комната служила буквально для всего: там мы ели за круглым столом, стоявшим посередине комнаты, там спали я, моя сестра и вернувшаяся к нам Аграфена. Для сестры это была детская, для меня — классная. Сестра до сих пор спала в деревянном ящике, но отец приспособил к нему ножки. Когда сестра не спала, ящик покрывался крышкой и превращался в стол. Няня и я спали на двухъярусной кровати — я наверху, няня внизу.

Центрального отопления не было, и каждая квартира отапливалась дровяной пузатой печкой, установленной самими жильцами. Она стояла в углу и зимой требовала постоянного к себе внимания. Еду готовили на общей кухне на примусах. Можно было бы готовить и на дровяной печи, но дрова экономили для отопления.

Я в раннем детстве была свободна, ничем регулярно не занималась, а теперь просто окаменела, когда мама сказала

будничным голосом: «Завтра ты пойдешь в школу». В девять лет я еще плохо читала. И вдруг я оказалась за партой в большой комнате среди множества детей моего возраста. Некоторые дети носили странные новые «революционные» имена — Владилен, Лениан или Прогресс. Я не имела ни малейшего представления о том, что происходит в классе, никто со мной не заговаривал, и я, конечно, тоже ни с кем не говорила. На переменке мне понадобилось в туалет, но я не знала, где он, а спросить стеснялась... и напрудила лужу.

Продрогшая, мокрая и несчастная, я села на пол в коридоре и разрыдалась. Никто не мог заставить меня снова войти в класс! Я была безутешна. Каким-то образом разыскали маму, и она забрала меня домой. В эту школу я больше уже не пошла.

В 1922 году в Москве царил такой хаос, что никто не следил за тем, в какую школу ходит ребенок. Мама просто отвела меня в другую школу, ближе к нашему дому, так что я одна могла дойти до нее пешком.

К этому времени я уже была более искушенной и знала, как найти туалет. То, что я еле читала, никого не интересовало. Советские школы следовали новому «революционному» методу обучения, который, кстати, на самом деле был системой, использовавшейся в американских дальтонских школах (Dalton School). Ученики не сидели за партами, поставленными аккуратными рядами, не переписывали отрывки из учебников, не учили наизусть правила грамматики и арифметики. Детей разбивали на рабочие группы, и каждой задавали определенную тему. Система эта должна была способствовать «духу коллективизма», но учителя не умели ею пользоваться. Работавшие в школе еще до революции, они терялись и не понимали, что от них требуется. Новые же учителя, назначенные коммунистическими властями, не обладали достаточными знаниями, чтобы преподавать в такой нерегламентированной обстановке.

Однажды я вошла в класс и увидела новую девочку, темную маленькую фигурку, одинокую и напуганную. Я села рядом с ней. Девочка придвинулась ко мне, взяла меня за руку, и так держась за руки, мы провели весь день, прижимаясь друг к другу, как два щенка. Мы не очень-то продвинулись в работе над заданной темой, но на нас никто не обращал внимания. В конце дня плотный мужчина со смуглым лицом пришел за девочкой. Вероятно, она была дочкой чиновника «нового класса», родом из какой-то азиатской республики. Мы поцеловались и обнялись со слезами на глазах. На следующее утро мы бросились друг к другу и опять провели весь день вместе. Так продолжалось до того дня,

когда она вдруг перестала ходить в школу.

Скоро я оказалась в группе детей «классовых врагов».

Мы слышали, что наших родителей называют врагами, и воспринимали это как нечто привычное, вроде заболевания инфекционной болезнью. Мы оказались вовлеченными в процесс естественного отбора, находя тех, кто наиболее похож на нас. В нашей группе была дочь известного меньшевика, сидевшего в тюрьме. Родители одного мальчика пропали без вести, он жил с тетей.

Игорь, сын выдающегося русского историка Тарле, также входил в нашу группу. Семья его жила в относительном благополучии, им даже разрешили сохранить старую московскую квартиру. По предложению Игоря наша маленькая учебная группа собиралась у него дома. Нам дали тему «Мексика», но в школе не было библиотеки, и профессор Тарле разрешил нам пользоваться книгами из его домашней библиотеки. Как странно было очутиться в прилично обставленной квартире, знать, что и сейчас некоторые люди живут хорошо и не продают своих вещей! Друзья моих родителей только и говорили о том, что бы еще продать, чтобы пополнить мизерный заработок...

Мои родители, хотя и «враги народа», оказались нужны новому режиму и поэтому получили шанс на выживание. Другим же «врагам» не так повезло. Получив прозвище лишенцев, они потеряли не только имущество, но и почти все права, а вместе с ними и возможность заработать на жизнь. Этих «не-людей» никто не брал на работу, и они продавали на рынках то немногое, что у них осталось. Моя мама тоже ходила на рынок продавать что-нибудь из наших вещей, когда нам не хватало денег. Новое правительство открыто заявляло, что «враги народа» обречены на вымирание, и чем скорее они вымрут, тем лучше.

Мне, как и всем детям в школе, «промывали мозги», пытаясь создать «нового советского гражданина». Я не ставила под сомнение марксистско-ленинское учение, не очень понимала, что такое классовая борьба или диктатура пролетариата, несправедливость и жестокость царского режима, неизбежность большевистской революции и ее конечной победы. Мы принимали все это за истину. Наши родители не смели с этим спорить. Возможно, они оградили нас от возможных последствий, угрожавших тем, кто проявлял «еретические» настроения. Они защищали и самих себя, потому что некоторых детей удавалось убедить доносить на крамольное отношение родителей к советской власти. А у некоторых детей родителей вовсе не было.

Своих родителей в этот период я видела мало, а авторитет Аграфены сильно поколебался. Теперь я редко ходила с ней в

церковь, хотя и продолжала молиться перед сном. Аграфена старела. Моя сестра Нина была своенравным и энергичным ребенком, она не желала тихо сидеть в церкви, пока няня молится, как я в ее возрасте. Несмотря на все молитвы Аграфены, я, ее дитя, от нее отдалялась, переходила к «врагам», обреченная на прямой путь в ад и вечное проклятие. Аграфена не понимала новых порядков, никак не могла к ним приспособиться. Какие-то активисты на нашей коммунальной кухне пытались уговорить ее вступить в профсоюз и потребовать от моих родителей жалованье, которое они якобы ей задолжали за работу во время Гражданской войны.

Изменилось все даже в родной ее деревне под Воронежем, куда она приехала навестить родственников. Церковь превратили в государственный склад, священник исчез. Люди были озлоблены и жили в нищете. Она вернулась еще более несчастная, чем раньше. Мне было жаль Аграфену, но я хотела быть как все, хотела быть «хорошей советской девочкой», стать частью нового общества. Антирелигиозная пропаганда, однако, никак на меня не действовала. Я по-прежнему верила в Бога, но знала, что свою веру и молитвы должна скрывать, потому что «хорошие» советские граждане не должны верить в Бога.

Для Москвы это время, начало 1920-х годов, было нелегким. По улицам бродило множество бездомных детей, беспризорников. В трагические годы Первой мировой войны, революции, Гражданской войны великое множество семей было вынуждено покинуть родные места, потеряли дома и имущество в панике массового бегства то от одного врага, то от другого. Нередко ребенок, случайно выпустивший руку своей матери, терялся в толпе, и его уже никто не мог найти. Сотни, тысячи детей всех возрастов разбрелись по стране в поисках пищи и крова — беспомощные жертвы болезней и голода. Вид их вызывал жалость и горечь.

Новое советское правительство не знало, что делать с этими толпами беспризорников. Датский Красный Крест первый забил тревогу и организовал акцию по обеспечению детей едой и одеждой. Но частная благотворительность наткнулась на активное противодействие советских органов, ответственных за детское здравоохранение. Московская милиция ловила детей и помещала их в государственные детские дома, однако многие убегали оттуда и возвращались к уличной жизни, где было больше шансов выжить. Они находили приют в развалинах старых домов, на железнодорожных станциях и на мусорных свалках. Чтобы выжить, они превратились в жестоких хищников, грабили даже средь бела дня и воровали все подряд в магазинах или на

рынках.

Однажды в центре Москвы меня и маму окружила группа беспризорников, они вырвали у мамы из рук сумку, сорвали с моей головы вязаную шапку и убежали. Прохожие быстро отходили в сторону. Когда мама наконец нашла милиционера, он сказал: «Забудьте об этом, гражданочка, вам еще повезло, что ваша дочка не пострадала».

Недавно я наткнулась на маленькую книжку воспоминаний русских детей 1918-1921 годов «500 русских детей вспоминают», опубликованную в Чехии в 1924 году. Эта огромной важности книга описывает трагические судьбы столь многих! Вот цена революции! Но когда это останавливало революционеров?

«Революция была временем, когда кто-то все время кричал "Ура!". Кто-то плакал, а по городу распространялся запах разлагающихся тел…

Нас в семье было семеро. Выжил я один… Три дня мы ничего не ели… Мы пришли в какое-то место, где с людьми делали что-то страшное. Папа сказал: "Пойдем, Марк, тебе еще рано все это видеть"…

Пришел комиссар, щелкнул нагайкой по сапогам и сказал: "Чтобы через три дня вас тут не было". Так мы стали бездомными… Нашего отца расстреляли, моего брата убили, мой отчим пустил себе пулю в голову… »

Это воспоминания тех, кому «повезло», детей, которым удалось покинуть Россию. Когда я видела уличных детей, сидящих тесными кучками в подъездах московских домов или в саду под скамейками, я всегда ощущала свое везение: когда я была маленькой, я никогда не выпускала нянину руку!

В следующем году жить стало легче. Советские правители, заметив, что на практике марксизм-ленинизм обернулся голодом и хаосом, объявили, что истинные ленинцы могут идти вперед к коммунизму, сделав несколько шагов назад. Начался период НЭПа, разрешили частное предпринимательство, приветствовали иностранные вложения. В это время Арманд Хаммер, Чарльз Крейн и другие американские бизнесмены начали свой выгодный бизнес с Советами, вывозя огромное количество предметов русского искусства. И мы вдруг перестали быть «врагами народа». Отец открыл частную практику и очень успешно принимал пациентов прямо у нас в квартире, а мама устроилась экскурсоводом в московский зоопарк. Сестра моя из несносного ребенка превратилась в хорошенькую и забавную девчушку. Все мы воспряли духом. Казалось, что жить в этой новой Стране Советов все-таки можно.

Мои родители пытались вести привычную культурную жизнь.

Среди папиных пациентов были оперные певцы и другие театральные люди, которые снабжали нас билетами на спектакли, концерты, в оперу и балет. Родители брали меня с собой, и я была в восторге. Появлялись старые друзья, завелись новые знакомства. Родители приглашали гостей. Опять я слышала из их комнаты веселые голоса и смех. Какой все-таки запас жизненных сил в человеке!

Мамина сестра тетя Ася с семьей добрались в это время до Москвы. Тетин муж Виктор безусловно принадлежал к «врагам народа»: он происходил из богатой и влиятельной петербургской семьи. Служил он в русском дипломатическом корпусе, а потом был офицером в Белой армии, пока не попал в плен к красным.

Каким-то чудом дядя Виктор избежал расстрела. Он разыскал жену с двумя сыновьями, и они поселились в коммунальной московской квартире недалеко от нас. Тете Асе и дяде Виктору разрешили работать, а мальчики, Шура (девяти лет) и Боря (шести), пошли в школу. Я обожала дядю. Он был очень красив, обладал невероятным обаянием, и когда он делал мне комплимент, я действительно чувствовала себя красивой. Дядя прекрасно играл на гитаре и пел старые русские и цыганские романсы глубоким бархатным баритоном. После прихода к власти Сталина дядя Виктор и мой старший кузен Шура были арестованы и отправлены в лагеря.

Мои двоюродные братья и я стали неразлучны. Мы придумывали разнообразные игры и рассказывали друг другу всякие истории, а Боря их «иллюстрировал», делая аппликации из кусочков любой подвернувшейся под руку бумаги. Это было его любимым занятием. Он мог часами сидеть один, щелкая ножницами, а рядом росла стопка готовых картинок.

Пришло лето, и родители сняли комнаты в деревенском доме под Москвой. Аграфена и все мы, дети, прожили там все лето, а родители приезжали по выходным. Нам было очень хорошо — мы купались в маленькой речке, лазили по деревьям, собирали грибы и играли с деревенскими детьми.

Скоро я начала открывать для себя Москву, уходя за пределы нашего района в узкие улочки старого города, на широкие бульвары и набережные. Родители работали по

10-12 часов в день, Аграфена занималась моей сестрой, и никто не интересовался, куда я иду после школы. Москва оживилась. Улицы стали чище, люди уже не выглядели такими угрюмыми, а беспризорники куда-то исчезли. Я чувствовала себя в полной безопасности и часами одна бродила по городу.

Я гуляла и во дворе нашего дома. Поскольку места в квартире было очень мало, детей выставляли «вон», когда взрослые хотели

побыть одни. Дети шли во двор. Для меня двор стал своего рода «школой жизни». Там происходило очень много интересного. Большие мальчики завязывали драки или нападали на младших и мучили их. Девочки сбивались в отдельные кучки, некоторые заигрывали с мальчиками и передавали им записки, но чаще перешептывались, секретничали и хихикали.

В нашем доме я знала только одну девочку — Зину, дочь самого важного человека на нашем этаже, управдома, ответственного за подобающее поведение жильцов. Если советский гражданин получал письмо или посылку из-за границы, то о нем следовало доложить председателю домового комитета, а тот в свою очередь докладывал вышестоящему начальству в сети государственного контроля. Того, кто получил такое письмо или посылку, допрашивали и делали предупреждение: не поддерживать контактов с «капиталистическими элементами».

Зинина мама до революции была кухаркой и обладала прекрасно развитым классовым чутьем. Она знала, что мои родители — «враги народа», оставшиеся в живых только благодаря великодушию Ленина. Зина была на пару лет старше меня и выбрала меня в «подруги» потому, что нуждалась в моей помощи, а именно чтобы привлечь к себе внимание мальчика с нашего этажа. Виктор Франк был «классный» и красивый, его родители тоже принадлежали к «врагам народа». Зина, проинструктированная матерью, понимала сложность своей ситуации. Во-первых, этот «классный парень », скорее всего, отвергнет ее любовь из-за их «классовых» различий, а если вдруг и не отвергнет, то она окажется в опасности, связав свою судьбу с «классовым врагом». И, конечно, ей попадет от родителей.

Зина разработала план. Она внушила мне, что я тоже влюблена в Виктора и что мы должны написать ему записку от нас обеих. Я согласилась, главным образом потому, что я ее боялась, но еще и потому, что Виктор действительно был очень красивым мальчиком. Я сама поверила, что влюблена, и сочинила записку: «Две девочки в тебя влюблены. Отгадай кто? » И я же должна была эту записку отнести. Я прошла медленно по коридору, разделявшему наши квартиры, подсунула записку под его дверь и быстро убежала.

Начались дни напряженного ожидания. Получил ли он записку? Что он будет делать? Догадается ли он, кто написал записку? Теперь я тоже шепталась и хихикала с девочками во дворе. Наконец-то я стала «своей»!

Виктор не обращал внимания ни на Зину, ни на меня. Спустя много лет я встретила его в Лондоне, и он сказал мне, что не помнит никакой записки, скорее всего, мать нашла ее и

выбросила. И правильно сделала! В 1970 году я беседовала с ней в Мюнхене. Она не помнила никаких записок под дверью в Москве, но сказала, что если бы нашла, то, конечно, выкинула бы такую глупость.

Отец Виктора профессор Семен Франк, выдающийся религиозный философ, жил в Москве в ожидании выездных виз для себя и своей семьи. В годы НЭПа многим крупным русским ученым и писателям разрешили уехать за границу. Кто-то осел в Европе. Некоторые семьи разделились, одной из таких семей были Пастернаки. Борис Пастернак вернулся в Россию, а его родители и сестры остались за границей. Франки поселились в Германии, где Виктор стал журналистом. Потом он переехал в Лондон и возглавлял русскую службу Би-би-си, а позже работал в Мюнхене на радиостанции «Свобода»...

...Лет в одиннадцать я тяжело заболела, страшно иехудала, у меня держалась высокая температура. Мама забрала меня из школы. Что это была за болезнь, так никто и не определил, но она явно была не заразной и не смертельной. Мама отпросилась с работы и увезла меня на Север, где недалеко от финской границы жил ее брат.

Дядя Алексей был горным инженером, вдовцом, с сыном Виктором, на два или три года старше меня. Они жили в бывшей помещичьей усадьбе, стоявшей на холме среди парка с видом на долину с несколькими деревнями. Была зима, снег блестел на солнце. Воздух был холодным, свежим и чистым, парк напоминал снежную сказку. Дом отапливался дровяными печами и каминами, и по всему дому раздавалось уютное потрескивание дров.

Дядя Алексей был тихим человеком, никому не мешал и любил просто сидеть один. За домом умело следила молодая крестьянка. Я не понимала отношений между ней и дядей. Они спали в одной комнате, хотя не были женаты. Но они явно жили вполне счастливо.

Виктор в это время приехал домой на каникулы. Это был высокий, красивый мальчик, немного застенчивый. Нас приняли как давно потерянных любимых родственников и включили в свою теплую, уютную жизнь. Я сразу же почувствовала себя лучше. Мама успокоилась. Она была счастлива оказаться с братом в таком спокойном месте. Там стояло пианино, и вечерами мама играла что-нибудь печальное или романтическое — Шуберта, Шумана или Скрябина. В доме было много книг, и Виктор читал вслух своему отцу. Именно тогда я полюбила книги. Мы все сидели в гостиной и по очереди читали вслух. Помню, читали Диккенса и Толстого. Остальной мир для нас не существовал, он

просто исчез под снегом.

Мы с Виктором ходили на лыжах, катались на санках, играли в снежки с деревенскими детьми. Мы очень подружились и действительно чувствовали себя членами одной семьи. Виктор дразнил меня, что я вырасту «красивой женщиной» и что мне следует поостеречься и не разбить слишком много мужских сердец. Я ему, конечно, не верила, но помню, как смотрела в зеркало и думала: «Наверно, он прав. У меня прямой нос, красивый рот, кудрявые волосы... Я хорошенькая девочка!» В те годы взросления комплименты Виктора придавали мне уверенность в себе.

Моя дружба с Виктором и другими двоюродными братьями, Борей и Шурой, была для меня очень важна, мне было с ними очень хорошо. Как, наверно, прекрасно жилось в прежнее время в таком большом доме, как этот, где вся большая семья, все кузены и кузины собирались на праздники! В этом отношении я по-прежнему чувствую ностальгию по моей старой родине. Мы покинули Россию в 1925 году, и я больше никогда не видела двоюродных братьев. В 1970-х годах на наших берегах появилась новая волна эмигрантов из Советского Союза, и я встретила нескольких мужчин, напоминавших мне моих кузенов. Я всячески старалась помочь им и их семьям, позже приходя к заключению, что они вовсе на них не похожи. Друзья шутят, что у меня «комплекс потерянных кузенов». Они правы, и я стараюсь не слишком увлекаться.

В доме дяди Алексея я наконец-то по-настоящему узнала свою мать. Мы с ней часто надевали «снегоступы» и отправлялись в дальние прогулки по парку или спускались в долину. Парк был совершенно волшебным местом, сценой из «Щелкунчика». Мне все чудилось, что вот-вот появится из сугроба снежная фея. Сухой снег скрипел под ногами, а если дотронуться до покрытой снегом ветки дерева, на голову обрушивалась снежная лавина. Там впервые мама рассказала мне о своем детстве на Урале, жизни дома, о своих родителях.

Ее отец, Николай Волков, врач, решил работать в далекой российской глубинке, потому что считал своим долгом «служить народу». В середине XIX века в России, как известно, появилось «народничество», движение, призывавшее высшие слои общества отказаться от своего изнеженного и эгоистического образа жизни и становиться учителями и врачами, чтобы посвятить себя просвещению невежественного и обездоленного народа своей страны.

Мой дед принадлежал к той социальной группе, которую принято называть интеллигенцией, возникшей в России в 1860-х

годах. Русские интеллигенты отличались от европейских одной очень важной чертой: они считали себя особым сообществом, объединенным общей целью — нести Истину и Справедливость в русское общество. К своим высоким и благородным идеалам они относились чрезвычайно серьезно и пытались осуществлять свои «невозможные мечты» как истинные донкихоты, борясь с ветряными мельницами в ущерб собственному здоровью и удобству.

Доктор Волков принял предложение работать в маленьком уральском городке Алапаевске вместо того, чтобы заняться практикой в родном городе или поселиться со всеми удобствами в собственном имении. Он умер в возрасте 37 лет во время одной из эпидемий, периодически проносившихся по стране. А за год до его смерти во время семейного похода за грибами его жена, моя бабушка, бывшая на последнем месяце беременности, отстала от других и заблудилась в бескрайной сибирской тайге. Ее искали два дня, и никто не знает, что с ней в это время было. В конце концов ее нашли в состоянии безумия на дороге в нескольких километрах от города. Заметивший ее крестьянин сначала прошел мимо, приняв за дьявольское наваждение. Но потом осенил ее крестным знамением, и она не исчезла. И тут он вспомнил о потерявшейся жене доктора. Ребенок родился мертвым, а вскоре после этого умерла и бабушка.

Таким образом моя мама, Зинаида, стала сиротой в возрасте десяти лет. Ее старшей сестре Асе было тринадцать, братьям Алексею и Николаю — восемь и шесть. Осиротевшие дети из дворянских семей могли рассчитывать на защиту и заботу со стороны царской семьи, государство становилось как бы их «опекуном». Если они принимали эту заботу, государство помещало их в школы, а потом помогало занять подходящие должности. Опекун детей, дядя, армейский офицер, служивший в части, располагавшейся в маленьком городке на западе страны, оказался не самым подходящим для роли родителя. По словам мамы, он был эгоист и сибарит, холостяк, понятия не имевший, что делать с попавшими под его опеку детьми.

Решение быстро нашлось: все дети были отосланы в разные закрытые учебные заведения. Мама попала в Императорский Николаевский институт для девочек в Москве. Его патронессой была сама императрица. Некоторые из выпускниц попадали потом ко Двору. Институт давал прекрасное образование, там преподавали хорошие учителя. Девочки свободно говорили по-немецки и по-французски; тем, у кого находили способности, преподавали музыку и изящные искусства. Правда, ценой этому была оторванность от семьи. Строгая дисциплина, послушание и

неизменный распорядок школьного дня заставляли девочек отмечать в календаре дни в нетерпеливом ожидании каникул, рождественских или летних, когда можно будет поехать домой.

Маме повезло — она нашла искреннюю подругу в одной из своих соседок по комнате. Ее звали Евгения Вульф. Эта дружба помогала им выдерживать школьную атмосферу, лишенную любви и тепла. Евгения осиротела совсем маленькой, и ее вырастили ее дядя, барон фон Вульф, и его семь сестер, лишь одна из которых была замужем. Евгения стала центром их жизни и чувствовала их любовь даже в разлуке с ними. Две из ее незамужних теток нанимали в Москве на зиму дом, чтобы иметь возможность навещать Евгению по воскресеньям. К счастью, маму быстро приняли в семью Вульфов, и она проводила у них много времени. Летом мама жила с семьей своего отца в волковском имении, туда же съезжались из пансионов ее братья и сестра. Вместе они были счастливы.

«Вот и сейчас такая счастливая встреча с братом Алексеем», — сказала она, закончив рассказ по дороге к дому дяди. Мне было всего одиннадцать лет, и мама поэтому ограничила воспоминания своим детством. С годами, взрослея, я узнавала о ее дальнейшей жизни.

Могу с уверенностью сказать, что мама была очень необычной женщиной. Не многие женщины, да еще такого общественного положения, продолжали свое образование. Она же хотела получить профессию и работать, интересовалась естественными науками и сразу после выпуска из Николаевского института поступила в Женевский университет. Швейцария очень отличалась от всего того, что она видела до тех пор, и ей нелегко было оказаться одной в чужой стране. Мама вспоминает, как было одиноко и страшно, но она обладала острым, пытливым умом и способностью к самодисциплине, необходимой для проведения аналитических работ.

Ей нравилось учиться. Я помню, как рада она была приглашению поступить в московскую экспериментальную лабораторию незадолго до нашего отъезда из Москвы и как была разочарована тем, что из-за переезда пришлось отказаться от возможности продолжать научную деятельность. Мама хорошо писала, прекрасно играла на рояле и вообще была очень культурной русской дамой, и все это в хаосе войн, революций и культурных сдвигов!

Мамин брак считался «неравным»; она вступила в него против желания своей семьи. У моего отца, Александра Жемчужного, была авантюристическая жилка, он происходил из малоизвестной семьи, был красивым, смелым мужчиной, не

очень-то считавшимся с условностями современного ему общества. Встретились они в то время, когда он был студентом медицинского факультета Московского университета. Маме было восемнадцать лет, она только что закончила ученье и приехала на лето в имение бабушки. В доме уже собралась кампания молодых людей — членов семьи и их друзей. Среди последних был и мой отец.

Беззаботная и веселая летняя жизнь — визиты в соседние имения, прогулки в саду при луне, пикники, походы за грибами и ягодами, — казалось, располагала к тому, чтобы влюбиться, и моя мама полюбила Александра. Он был ее первой любовью, и она отнеслась к этому очень серьезно. Он же, вероятно, не видел в этом ничего, кроме приятного летнего приключения. Хотя он признался маме в любви, но не считал, что это его к чему-то обязывает. Мама уехала в Женеву с разбитым сердцем и намерением никогда более его не видеть.

Но на следующее лето они опять встретились, и она уже не вернулась в Женеву, а поступила в Московский университет. Отец по-прежнему ничего не обещал, и мама страдала, не оставляя все же надежды на то, что когда-нибудь он будет принадлежать ей одной. За ней ухаживали другие, она могла бы сделать «хорошую партию», но она хотела быть с ним.

У отца, кроме Зинаиды, были и другие женщины, к тому же он увлекался спортом — в это время среди студентов была в моде борьба, и он входил в университетскую команду. Увлекался он и радикальными политическими течениями. Мама же настойчиво и терпеливо его добивалась, она научилась ничего от него не требовать и пыталась устроить свою жизнь так, чтобы от него не зависеть. Я всегда поражалась, как ей хватало сил и мужества любить этого трудного человека на протяжении всей их совместной жизни!

Но отец мой был не просто красавцем и авантюристом. Он обладал многими талантами — писал хорошие стихи, был одаренным врачом и многообещающим художником. Будучи в Париже, он зашел в студию великого французского скульптора Родена. Его посадили среди других учеников и дали глину для работы. Когда он показывал сделанную им скульптуру другим ученикам, подошел сам Роден и сразу же предложил моему отцу стипендию. Но отец отказался. В поздние годы он занимал ответственные должности в России, Китае и Австралии, тем самым доказав, что он «прирожденный лидер».

В моей метрике значится имя отца, но я не знаю, когда точно они поженились. Первая мировая война, революция,

Гражданская война надолго разлучали моих родителей. В

московские годы и потом в Китае и Австралии родители научились лучше понимать друг друга. Конечно, матери не удалось до конца осуществить свою мечту о том, что он будет принадлежать только ей. Думаю, она от этой мечты отказалась. В его жизни всегда были другие женщины, но он неизменно относился к моей матери с огромным уважением и заботой.

Она же научилась жить независимо от него. У нее были свои друзья, она занималась интересными ей делами. В Китае она вступила в Харбинское этнографическое общество, работала в его музее и ездила в экспедиции. В Австралии мама активно участвовала в деятельности нескольких русских культурных организаций, написала большую и подробную работу об австралийских аборигенах. В начале 1930-х годов в Харбине был опубликован первый мамин роман «От восемнадцати до сорока». Второй ее роман «Повесть об одной матери» вышел в 1938 году в Тяньцзине[2], а социологическое исследование «Мы и наши дети» увидело свет в 1939-м, незадолго до того, как они с отцом уехали в Австралию. Ее автобиография «Пути изгнания» была написана в 1961-м, никто о ней не знал, пока я не нашла рукопись в маминых бумагах через несколько лет после ее смерти.

Родители были жертвой бурной русской истории, как и многие их современники-эмигранты. Потеря столь огромной части интеллигенции навсегда останется трагедией России.

Чем старше я становилась, тем больше мы с мамой сближались. Мы обе любили природу, книги и музыку. Она была застенчивым человеком, не любящим показывать своих чувств. На примере ее терпеливой дисциплинированности я научилась устраивать свою жизнь. На ее же примере я научилась не влюбляться в красивых мужчин с авантюрной жилкой!

Мама умерла в Австралии в возрасте семидесяти пяти лет. Последние свои годы она прожила в покое и достатке. Я очень сожалею о том, что Вторая мировая война, а потом океан разлучили нас и что это случилось именно тогда, когда мы наконец-то стали настоящими друзьями. Я уехала из Китая в США в 1938-м, родители переехали в Австралию в 1939-м. Шестнадцать лет спустя мама навестила меня в Вашингтоне, и это было своего рода шоком и для меня, и для нее. Годы наложили свой отпечаток, ей скоро должно было исполниться семьдесят, она казалась мне старухой, совсем не такой, какой я ее запомнила. Она же встретилась со взрослой дочерью, решительной, уверенной в себе женщиной с мужем-ученым и двумя американскими детьми. Трудно было переступить через годы разлуки и привыкнуть к новым реалиям, мы обе изменились за это время. Не знаю, насколько нам удалось восстановить

прежнюю близость, но в нашей глубокой любви друг к другу сомневаться не приходится. Я завидую семьям моих друзей, оставшимся вместе, вместе стареющим и сохраняющим близость.

Когда мы с мамой вернулись в Москву от дяди Алексея, отец сказал нам, что завязал знакомство с одним очень высокопоставленным советским чиновником. Отец его вылечил, и тот обещал помочь ему получить место за границей.

В декабре 1925 года отец узнал, что в русской миссии в Китае освободилась должность медицинского работника. Он предпочел бы Европу, но все же это предложение принял. Отца назначили главным врачом центральной больницы в Харбине (в Маньчжурии), там он должен был проработать как минимум два года. После этого он мог ехать куда захочет. Благодетель отца, несомненно, шел на риск, устраивая такое дело. Нам очень повезло.

Маме было тяжело уезжать из Москвы. Она понимала, что вряд ли когда-либо вернется в Россию, вряд ли увидит сестру и других близких и друзей. Она боялась за них, боялась и собственного неизвестного будущего. На вокзале она потеряла обычное самообладание и не могла оторваться от сестры Аси, заливаясь слезами. Отец был самоуверен и настроен решительно, он предвкушал новые приключения.

Аграфена уехала за неделю до этого, и я горько плакала, прощаясь с ней. В те дни все члены семьи были нервные, напряжение висело в воздухе, и жалобы Аграфены на то, что ее «выбрасывают», поскольку она «состарилась и больше никому не нужна», наконец, вывели маму из себя. После тщетных попыток объяснить, почему она не может отправиться с нами в Харбин, мама попросила Аграфену уехать. Я помогала Аграфене собирать ее сундук, тот самый сундук, который сопровождал нас повсюду все годы войны и революции. Я помню, как мне, совсем еще маленькой, Аграфена показывала содержимое своего сундука: «Вот шаль, которую дала мне твоя прабабушка, когда мы уезжали из Воронежа ». И она с гордостью демонстрировала мне шаль, которую на моей памяти никогда не надевала… «А вот что твой отец привез мне, когда вернулся из-за границы»: брошка с камеей была аккуратно уложена в старенькую коробочку. Были там и мотки ниток, белье и даже отрезы шелковой тафты, которые дарили ей мои родители и из которых она так никогда ничего и не сшила.

Мне было грустно и стыдно, я думала о том, что она посвятила нам всю свою жизнь, всем для нас жертвовала, очень любила меня. Она простила мне мое «предательство», плача и целуя меня в последний раз. Я обещала ей всегда помнить, что

«Господь — Пастырь мой и что правда Его вовеки». Она была права. Теперь, уже приближаясь к концу своего пребывания на земле, я знаю, что «Господь — Пастырь мой», и когда я стою в русской православной церкви, я чувствую себя «дома», в полной безопасности, и этим я обязана Аграфене, да будет мир праху ее.

Моя лучшая подруга Женя и я провели последнюю ночь в Москве вместе, почти не спали и клялись друг другу в вечной дружбе. Она твердо решила не плакать, но мы не выспались, нервное напряжение давало себя знать. На вокзале я чувствовала себя усталой и растерянной. Проводить меня пришли школьные друзья. Обнимая и целуя их на прощание, я вдруг осознала, как они мне близки и как мне не хочется от них уезжать. Они были моим миром, Москва была моим городом, и я должна была жить здесь, с ними, а не где-то еще. Кондуктор позвал всех в вагоны, люди стали занимать места в купе (это уже был не товарный вагон!). Поезд тронулся. Женя махала мне вслед, по ее щекам текли слезы. Тут всплакнула и я. Я уже тогда понимала, что мы прощаемся навсегда.

В 1984 году я снова оказалась в Москве. Я ничего не почувствовала к этому огромному, расползшемуся современному городу, возникшему перед моими глазами. Старых улочек не было, названия улиц изменились, все было застроено высотными домами, а люди выглядели угрюмыми, усталыми, озабоченными и преждевременно постаревшими. Посещение Большого театра только усилило разочарование. Опера Прокофьева показалась тяжеловесной, костюмы убогими, а большинство певцов страдали ожирением. Красная площадь в кино выглядит гораздо лучше, чем на самом деле. Может, и хорошо, что я не испытала той ностальгии, которая нередко охватывает изгнанников при встрече с потерянной родиной.

ГЛАВА 3 Харбин

Первое же утро в поезде после отъезда из Москвы принесло сюрпризы. Родители, я и сестра проснулись больными, с сильным головокружением. Еще хуже мы почувствовали себя, обнаружив, что ночью, пока мы спали, в наше купе кто-то влез и украл все наши деньги и ценности.

В то время советским гражданам, отправлявшимся за границу по делам службы, разрешалось вывозить определенную сумму денег и некоторые ценные вещи, все это регистрировалось в соответствующем государственном учреждении. Тот, кто обокрал наше купе, точно знал, что искать. Возможно даже, что все это произошло при участии проводника.

Мы спали так крепко, что ничего не слышали, что было странно, и мы решили, что этот крепкий сон и утреннее головокружение были вызваны каким-то снотворным. Позже мы слышали подобные истории и заключили, что советское правительство или по крайней мере отдельные приближенные к нему ничего не имели против воровства у собственных граждан. Наше восьмидневное путешествие по Транссибирской железной дороге в отдельном купе в некоторых отношениях оказалось труднее, чем переезд в Москву из Краснодара в товарном вагоне. Теперь мы полностью зависели от доброты и щедрости соседей по вагону, делившихся с нами своей едой, главным образом вареным мясом с черным хлебом, крутыми яйцами и холодной картошкой.

Мы пересекли Уральские горы, и за окнами вагона открылись захватывающие дух виды: километры и километры густого соснового леса, знаменитая сибирская тайга, красивейшее озеро Байкал, самое большое пресноводное озеро на континенте и самое глубокое в мире, блестевшее сперва на солнце, потом при лунном свете... Глядя с верхней полки в окно, я стала понимать, насколько велика наша страна и какие огромные расстояния мы проезжаем за день...

Мы пересекли границу с Маньчжурией (Северный Китай), и я впервые увидела китайцев. Большая их толпа, орущая, толкающаяся, напирающая, окружила нас на станции, где нам предстояло пересесть в другой поезд. Наверно, они хотели помочь нам с багажом, но мы их не понимали.

«Оставайтесь здесь и смотрите за вещами!» — приказал отец и отправился искать кого-нибудь из начальства. Мама строго предупредила: «Стойте тихо и не обращайте внимания на этих людей!» Мы оказались в кольце, чьи-то руки тянули нас за рукава, хватали наши чемоданы. Я ужасно боялась этих странных,

шумных, крикливых азиатов и чувствовала себя среди них совсем чужой. Зачем уехали мы из нашей страны?! Сестренка разревелась, я уже собиралась последовать ее примеру, но тут пришло спасение. Появился отец с группой советских чиновников, и нас посадили в поезд, направлявшийся к цели нашего путешествия, в город Харбин.

Харбин, первоначально дальневосточный аванпост Российской империи, был основан в 1896 году после подписания соглашения с Китаем о строительстве Транссибирской железной дороги через Маньчжурию до Владивостока. Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), длиной более 1500 км, пересекала Маньчжурию. Там, где дорога проходила над рекой Сунгари, стояла китайская деревенька Хаобин, ставшая городом Харбином. Вначале там жили только русские железнодорожники, за ними приехали купцы и другие смелые предприниматели, привлеченные богатыми природными ресурсами Маньчжурии. Они основали лесопилки и пункты торговли мехом, разрабатывали угольные шахты и скоро превратили маленькое поселение в быстро растущий, процветающий пограничный город.

Харбин отличался от других русских провинциальных городов только тем, что стоял на иностранной земле и у русских было иностранное окружение. Русское население города представляло собой странную смесь различных социальных, политических и культурных групп. Первые поселенцы приняли к себе русских беженцев от коммунизма — солдат и офицеров разгромленной Белой армии, русских аристократов и дворян, новую русскую буржуазию и интеллигенцию, то есть всех, кого в советской России называли «нежелательными элементами» и от кого стремились всеми способами избавиться.

В 1924 году Советский Союз заключил с Китаем договор о совместном управлении Китайско-Восточной железной дорогой, в Харбин стали приезжать советские граждане, и население города резко возросло, достигнув двухсот тысяч. В то время это был самый большой русский город за пределами России; русские чувствовали себя здесь дома и не считались «иностранцами».

В Харбине жили самые разные общественные группы, и город делился на кварталы, каждый из которых имел свое собственное лицо. Как и во многих европейских городах, в Харбине были парки, широкие бульвары, солидные кирпичные дома, большие магазины, специализированные лавки, кафе и рестораны. По шумным улицам ходили трамваи, ездили такси, автобусы и русские извозчики, зимой менявшие экипажи на сани. Деловой центр города находился в районе, называемом Пристань, близко от реки Сунгари (отсюда и название «Пристань»). Вдоль реки

располагались фабрики и мастерские.

Первые русские поселенцы построили здесь роскошные дома и особняки. Главный жилой квартал назывался «Новый город». Вдоль широких улиц росли деревья, за заборами виднелись чудесные частные сады. Здесь теперь селились члены правления Китайско-Восточной железной дороги и высшие советские чиновники. На окраинах располагались более бедные районы, где находили приют потерпевшие поражение белые воины. Сначала они занимали наспех сколоченные хибарки, но постепенно вставали на ноги и строили себе настоящие дома. Они жили обособленно, объединенные антикоммунистическими настроениями и мечтами о будущем освобождении России.

В Харбине выходили несколько русских газет, а также русские литературные и политические журналы, представлявшие весь спектр убеждений и вкусов смешанного населения Харбина. В городе были опера, симфонический оркестр, несколько театров и клубов. Каждую зиму проходили настоящие «сезоны» культурных мероприятий. Несколько высших учебных заведений выпускали инженеров, юристов, учителей и др. Были в городе русские православные храмы, библиотеки, частные школы и исследовательский институт этнической культуры с очень хорошим музеем.

Как и в Париже, где русская интеллигенция образовала собственное культурное государство в государстве, в Харбине культурная жизнь била ключом. Многие харбинские русские писатели, поэты, артисты, музыканты стали знаменитостями. Ныне уже покойный, известный артист театра и кино Юл Бринер жил в Харбине. Его семья (богатые промышленники) основала любительский театр, представления которого пользовались немалым успехом. Его сестра Вера Бринер была известной в 1940-х годах певицей.

Мы въехали в Харбин по советским паспортам. Пока отец работал главным врачом Центральной больницы, мы были обязаны жить среди «своих» и не общаться с эмигрантами. Мне это было нетрудно, поскольку после московской школы я считала себя советской девочкой и имела определенные взгляды на то, что в этом мире «хорошо», а что — «плохо ».

Нас привезли в «Гранд-Отель», самое шикарное место из всех, что я когда-либо видела, но я реагировала очень сдержанно и молчала все время, пока мы шли по застланному ковром коридору к нашим комнатам. Увидев чистую, белую, фарфоровую ванну, мама чуть не разрыдалась.

—Наконец-то, — воскликнула она, — цивилизация!

— Но, мама, — возмутилась я, — это же буржуазное

упадничество! Бедные китайские рабочие голодают...

— Елена! — строго сказала мама. — Мы уже тысячу лет не мылись в ванне! А ***ты*** вообще никогда не мылась в настоящей ванне!

Меня не так-то легко было соблазнить, хотя ванна и блестела очень привлекательно. Демонстрируя чувство товарищества, я пожала руку каждому из китайских слуг, и они ушли, прыская со смеху. Некоторое время мы жили в гостинице, и мое возмущение росло при обнаружении каждого нового признака роскоши и комфорта. К тому же я очень смущалась тем, что не умела себя вести во всем этом великолепии, особенно в общей столовой. Мама успокаивала меня и говорила: «Просто смотри, как ведут себя другие, и делай так же». Ни у кого из нас не было подходящей одежды, в которой не стыдно было бы появиться в такой обстановке. К нам приставили женщину, чтобы она помогла маме сориентироваться в магазинах, но я все это решительно отвергала, с меня было вполне довольно моего бесформенного, серого, советского одеяния.

Позже мы узнали, что женщине этой поручено было наблюдать за нами и сообщать о любых политически некорректных поступках. Мама сначала терпела мое противодействие моде, но скоро ей надоело слушать мои постоянные замечания об «эксплуатируемых китайских рабочих» и «буржуазном упадничестве». Она использовала преимущество своего положения и заставила меня одеться «подобающим образом», как все. Все же я отвергла выходные платья с оборками и согласилась, хоть и неохотно, только на юбки, кофты и блузки.

Дом в Новом городе, в который мы въехали, по советским стандартам был просто невероятным. Были отдельные комнаты для меня и для сестры, большая спальня для родителей, гостиная с камином, кабинет для отца, кухня и за ней две комнаты для слуг (там жили китайский повар с мальчиком-подмастерьем и русская няня моей сестры), большой двор и чудесный сад перед домом. Для мамы и папы в этом ничего удивительного не было — они как бы вернулись к своему прежнему, дореволюционному образу жизни, но мне трудно было приспособиться к такой перемене; принять весь этот комфорт в то время, как мои сограждане в советской России терпели лишения, я переживала идеологический конфликт и очень скучала по московским друзьям и родственникам.

Мы приехали в декабре; после рождественских каникул меня отправили в школу. Это была советская школа, которой управляла китайско-советская администрация по делам детей служащих Китайско-Восточной железной дороги. Мальчики и

девочки ходили в одну и ту же школу, но сидели в разных классах.

Либеральные советские методы преподавания, которые я испытала на себе в Москве, еще не дошли до Харбина, и наши учителя учили нас по-старому, с сильным упором на строгую дисциплину. Мы носили форму, должны были идти в классы парами и вставать из-за парты, обращаясь к учителю. Я считала все это абсолютно ненужным и возмущалась требованиями выучивать что-либо наизусть и тем, что отметки часто зависели от зубрежки.

Мама же считала перемену в моем школьном образовании Божьим даром. Каждый день она поджидала моего возвращения из школы и помогала мне осваивать трудные предметы. Прекрасно понимая, что до сих пор мое образование было отрывочным и несистематическим, она хотела, чтобы я наверстала упущенное, делая дома больше, чем задавали в школе. Мама также нашла возможность для меня продолжать брать уроки игры на рояле, которые я начала еще в Москве.

Я сразу же вызвала интерес к себе одноклассников как появившаяся в середине учебного года «новенькая», к тому же несколько странного поведения. На уроках рукоделия, обязательных для всех девочек, я упрямо отказывалась брать в руки иголку, к немалому удивлению учительницы, никак не ожидавшей такого непослушания от тихой новенькой ученицы. Она, конечно, не подозревала, что я еще никогда в жизни иголки в руках не держала, а когда это выяснилось, я чуть не умерла от стыда. И до сего дня у меня не получается прямой шов. Однако благодаря этому эпизоду я подружилась с девочкой, которая очень меня пожалела. Она подошла ко мне и сказала, что тоже не любит шить. Елена Зарудная стала моей лучшей подругой и остается ею до сих пор.

Потом, уже привыкнув к школьным порядкам, я отличилась в классе по сочинению. Нам задали написать дома сочинение на тему «Важная роль воды в жизни человека». С маминой помощью это эссе превратилось в тридцати-пятистраничный трактат, поразивший мою учительницу. Она прочитала его вслух всему классу, и пошли разговоры о том, что я «писательница». Каковы бы ни были достоинства этого сочинения, писательницей я себя уж точно не считала. Я не смогла бы написать эти тридцать пять страниц, если бы рядом со мной не сидела мама. Хотя у меня появилось в школе несколько друзей, я не стремилась участвовать во внеклассных мероприятиях, вступать в клубы или кружки. Раз в месяц эти кружки устраивали очень популярные среди мальчиков и девочек танцевальные вечера, но я не умела

танцевать и не собиралась опять выставлять себя на посмешище.

В наш первый год в Харбине мне не разрешали гулять одной по улицам, что я так любила делать в Москве. Не было и московского двора, где можно наблюдать за всякими интересными происшествиями. Моя комната была моей крепостью. Зимой, когда из пустыни Гоби через маньчжурские степи задувал к нам ледяной ветер, я часами сидела в своей комнате, согретой голландской печью, за которой присматривали слуги-китайцы, и исписывала страницы дневника рассуждениями о целях и назначении моей жизни. Я все еще надеялась вернуться когда-нибудь в Россию и не могла понять, почему мои родители были так решительно настроены против нового советского порядка. Я считала, что они должны с пониманием относиться ко вполне понятной враждебности по отношению к ним, представителям классовых врагов, и трудиться вместе с новым режимом на благо будущей России.

Сейчас, перечитывая дневниковые записи тех лет, я отмечаю и детали жизни обычной девочки-подростка, которая хихикает, шепчется и делится слухами с подружками, вникает во все их сердечные тайны, бегает в кино и увлекается кинозвездами. Большинство девочек были влюблены в Рудольфа Валентино, моим же героем был Дуглас Фэрбенкс.

Но я вспоминаю и другую сторону моей тогдашней жизни. Я решительно была настроена стать «хорошей» и смотрела на свою жизнь с точки зрения долга. В дневнике под заголовком «Цель моей жизни» написано: «Мой долг — максимально развиваться умственно и духовно... Знание должно стать для меня источником счастья». Под заголовком «Долг перед семьей » я написала: «Я решила стать другом своей матери... Я обязана нравственно направлять свою сестру и ограждать ее от дурных влияний». Дальше следовал «Долг перед моей собственной семьей, когда она у меня будет»: «Моя семья должна строиться на крепких основаниях... Выйти замуж я могу только за человека, который мне верит и понимает меня на сто процентов... Я должна быть идеальной матерью и воспитать своих детей так, чтобы они стали настоящими и достойными людьми». Дальше — «Долг перед государством»: «Я должна вернуться в Россию. Должна служить людям и помогать тем, кто культурно отстал. Все приобретенные мною культурные ценности я должна делить с другими». И, наконец, «Долг перед человечеством», состоявший главным образом в стремлении «повысить культурный уровень окружающих меня людей», что, конечно, должно было сделать их абсолютно счастливыми. Сейчас все это выглядит безнадежно наивным, но в то время я чувствовала себя действительно

связанной этими благородными и возвышенными обязательствами и старалась соответствовать этому выдуманному идеальному образу самой себя. Я заставляла себя делать невозможное в стремлении к самоусовершенствованию и постоянно отчаивалась из-за своих неудач.

В церковь я больше не ходила и не молилась, и поэтому никто не мог отпустить мне грехи. И не было рядом Аграфены, которая всегда умела успокоить и ободрить меня, не было того магического «безопасного» места, которое она создавала каждый вечер, осеняя крестом мою кровать, окна и двери комнаты. В этом новом, кажущемся безопасным и нормальным мире Харбина я чувствовала себя неуверенной и уязвимой.

Одной из главных помех на пути к достижению «высоких» целей стала неудержимая склонность к мечтам, к «снам наяву». Эти состояния часто считаются грехом, в котором надлежит исповедоваться; большинство людей считают его безвредной и даже романтической привычкой. Но в моем случае это был опасный и вредный недуг. Я погружалась в свой выдуманный мир чаще, чем участвовала в жизни мира настоящего.

Конечно же, в выдуманном мире я была много счастливее. Я имела над ним власть и могла управлять событиями и поведением людей, предотвращая болезненные ситуации. Мои достижения в реальной жизни отходили на задний план, и когда я добивалась каких-нибудь настоящих успехов, они не доставляли мне особой радости и не прибавляли гордости. Люди в моих грезах были героическими фигурами, а живущие в реальном мире казались призраками. Как же могла бы я стать тем, чем себя воображала?

В результате я вела двойную жизнь, часто разговаривала с ничего не подозревающими друзьями или родными, и в то же время в своем воображении я была от них далеко-далеко. Даже не понимаю, как я умудрилась окончить школу! Нередко, сидя на уроках, я не слышала ни одного слова учителя.

В Харбине я проводила немало времени в доме и среди друзей Елены Зарудной. Живое, сердечное и уютное семейство Зарудных состояло из отца, пяти дочерей, сына, старой няни и экономки.

Экономка Маня восседала за самоваром на каждом вечернем чаепитии. Она внимательно следила за девочками и шумной стайкой их друзей и поклонников.

Отец Елены, Иван Сергеевич Зарудный, происходил из известной петербургской семьи. Его брат, Александр Сергеевич, был одним из адвокатов, выступавших в 1913 году на стороне защиты в печально известном судебном процессе по обвинению

Манделя Бейлиса в ритуальном убийстве, процессе, имевшем много общего с делом Дрейфуса во Франции. Бейлис (как и Дрейфус) был оправдан. Покойная мать Елены была внучкой знаменитого русского живописца Брюллова.

Семья придерживалась либеральных взглядов, свойственных многим тогдашним русским интеллигентам, однако большевистская революция 1917 года вынудила их покинуть родину. В 1919 году они оказались в Омске. В 1919-1922 годах Сибирь была охвачена Гражданской войной, белые, красные и разрозненные группы, боровшиеся за свои собственные интересы, — партизаны — занимали города, потом сдавали их и отступали, потом опять их захватывали. И.С. Зарудный нашел работу в Японии и оставил свою семью на время в Сибири. Г-жа Зарудная была членом партии социалистов-революционеров, находившихся в оппозиции к большевикам. Когда Омск захватили большевики, ее арестовали и в 1921 году казнили. Шестеро детей остались на руках у Мани и старой няни. С помощью друзей, среди которых был американец Чарльз

Крейн[3], фабрикант и предприниматель из Чикаго, И.С. Зарудному удалось переправить семью в Харбин, где они теперь все вместе и жили. Он был по профессии инженер, нашел работу на Китайско-Восточной железной дороге и обустроил дом для своих детей.

И.С. Зарудный был замечательным, остроумным, обаятельным мужчиной, хорошо воспитанным и не забывавшим о своем общественном положении. Он прекрасно справлялся с выводком детей, которые наперебой старались обратить на себя его внимание и любовь. Старшая его дочь Маргарита, или Муля, как прозвали ее в семье, была моей первой учительницей английского языка. Ее порекомендовали моей маме в школе, и она регулярно приходила заниматься со мной английским весь мой первый школьный год. С остальной семьей я познакомилась гораздо позже, когда мы с Еленой стали близкими подругами. Единственным мальчиком в этом «бабьем царстве» был Сергей, умный и с чувством юмора, но старше меня и редко удостаивавший нас своим обществом. Елена, умница и, кажется, любимица отца, была следующей по возрасту. Их сестра Таня любила спорт. Помню, с каким увлечением играла она в теннис. Дальше шла красивая и кокетливая Зоя. Она много хихикала и гордилась тем, что могла запросто отбить у сестер любого ухажера. Маленькая Катя, самая младшая, обыкновенно «терялась в толпе», но отец и Маня старались не дать ей почувствовать себя забытой и обделенной вниманием. Однако их усилия не принесли ожидаемых результатов: когда я встретила Катю много лет

спустя, она постоянно жаловалась, что сестры ее «игнорировали» и вообще мир устроен «несправедливо».

Семья Зарудных приняла меня как родную, я участвовала в их семейных праздниках, ездила с ними на прогулки и пикники. Муля, Елена и Таня по очереди поверяли мне свои тайны. Я поражалась их жизнерадостности, энергии, их бурным ссорам и соперничеству. Но они очень быстро прощали друг другу то, что минуту назад казалось «непростительным грехом».

Бывало, Елена, в слезах, кричала одной из своих сестер: «Я с тобой больше никогда разговаривать не буду! Я тебя ненавижу!» Тут же на помощь призывалась Маня. Я ожидала трагических последствий, но на следующий день обнаруживала обеих сестер мирно сидящими на диване и вышивающими крестиком какой-нибудь коврик. Это занятие, кстати, ввела Маня в качестве коллективного труда семьи и друзей: она считала, что безделье к добру не приводит, что руки должны быть всегда заняты. По сравнению с ними я жила в призрачном мире, в котором не было места настоящей жизни и страсти.

Дружба с Еленой была очень важна для меня. Мы часто читали стихи, подолгу гуляли по городу. Любимым местом наших прогулок было русское кладбище. Мы бродили по дорожкам, читали надписи на плитах и памятниках, пытаясь вообразить себе жизнь этих умерших русских. Было грустно, но не очень, потому что мы знали, что наша жизнь еще впереди, и она казалась нам очень, очень длинной...

Понемногу я втянулась и в школьную жизнь, полюбила уроки истории и литературы. Я даже стала ходить на танцы. Подростком, однако, я избегала общества мальчиков, не знала, как реагировать на оказываемое мне внимание. Иногда на переменах мне передавали записки, где было написано что-то вроде: «Ты самая красивая девочка в нашей школе» или более драматично: «Если ты не посмотришь на меня на следующем школьном балу, я умру! Я тебя люблю». Эти записки нагоняли на меня панику.

Ухаживание происходило по давно отработанной схеме. Мальчик провожал девочку домой и нес ее книги. Девочка могла пригласить его к себе домой и сидеть с ним в гостиной, или мальчик заходил в воскресенье либо в какой-нибудь праздник и просил разрешения приходить в гости или пойти с девочкой гулять. Никто ни разу до меня не дотронулся, никто не пытался поцеловать.

Мальчики с нетерпением ожидали русской Пасхи, потому что на заутрене, когда священник восклицал: «Христос воскресе!», все прихожане отвечали дружно: «Воистину воскресе!» и троекратно

целовались, тут-то мальчики имели возможность поцеловать нравящихся им девочек. На пасхальной службе всегда было очень много народа, но я, к отчаянию своих поклонников, уже не ходила в церковь.

На первое свое свидание я отправилась, когда мне было шестнадцать лет. Юра ходил в другую школу. Наши семьи дружили, бывали друг у друга в гостях, так мы и познакомились. Ему было восемнадцать, он был высок, темноволос, красив и считал себя опытным светским мужчиной. Он пригласил меня в театр.

Мама настояла, чтобы я надела не школьную форму, а единственное мое выходное платье, темно-синее с белыми манжетами, широким белым воротником и множеством пуговиц до самого подбородка. Волосы мои были собраны в пучок, и я выглядела застенчивой молоденькой девушкой, прямо со страниц какого-нибудь русского романа XIX века.

В тот вечер давали венскую оперетту, полную эротических намеков. В такие моменты я опускала голову или отворачивалась от сцены. Для любого нормального мужчины это свидетельствовало бы о задержке развития, но молодому человеку, воспитанному на русской литературе

XIX века, это говорило о моей чистоте и невинности. Я была «тургеневской девушкой», а ему отводилась роль «лермонтовского героя».

После представления Юра хотел отвезти меня домой на такси, но я отказалась: я слышала всякие девичьи разговоры о тех ужасных вещах, которые могут случиться с «приличной девушкой», если она окажется в такси ночью с молодым человеком. Был холодный зимний вечер, улицы лежали под снегом. Юра нанял сани, запряженные лошадьми, что было, конечно, намного романтичнее такси и давало ему законную возможность обнять меня за плечи. Сани летели по пустым белым улицам, и Юра крепко держал меня всю дорогу. Он жил на другой стороне города, ему еще надо было целый час ехать туда на санях (на такси это было бы гораздо быстрее). Прощаясь со мной у нашей двери, он многозначительно произнес: «Спасибо, спасибо тебе за незабываемый вечер». «Мне тоже было очень приятно», — неловко ответила я и поспешила войти в дом.

На следующее утро Юрина мама позвонила моей и сказала: «Что за девочка ваша дочь?! Как могла она попросить Юру отвезти ее домой в открытых санях в середине зимы? Мой бедный мальчик сильно простудился, отморозил уши. Мы даже врача вызывали!»

Маме было очень стыдно, и она меня сурово отчитала. Опять

я вела себя не так, как положено! Да к тому же он из-за меня заболел...

Я обиделась на этот выговор и пыталась объяснить, что делала именно то, что сделала бы любая «приличная» девушка, что только «плохие» девицы могут согласиться ехать на такси с молодым человеком. Мама вздохнула и отложила обсуждение этого вопроса до того времени, «когда я вырасту».

На следующий день я получила от Юры длинное письмо. Он опять писал о прекрасном вечере, о том, какая я замечательная, что он вовсе не расстроен из-за отмороженных ушей и с радостью еще раз отвез бы меня домой в санях. На следующий день он прислал мне стихотворение. Он был уверен, что это любовь.

Я была несколько смущена таким быстрым развитием событий, хотя, конечно, внимание опытного молодого человека мне льстило. Я начала серьезно подумывать, не влюбиться ли и мне в него. Поскольку я пока еще ни в кого ни разу не влюблялась, размышляла я, то сейчас, возможно, для этого самое время.

Юра довольно долго болел и не мог выходить из дома, так что я отправилась к нему, выполняя «миссию милосердия», как он сам назвал мое посещение. Его отмороженные уши были туго забинтованы, он выглядел бледным и романтичным. Он взял мои руки в свои и поцеловал их, говоря о своей вечной любви и предлагая выйти за него замуж. Оказывается, он уже все распланировал.

«Я знаю, — сказал он, — что мы не можем пожениться прямо сейчас, потому что я должен ехать в Европу этой весной и поступать в университет, но я хочу, чтобы мы обручились, а поженимся мы через четыре года, когда я вернусь из университета. Пожалуйста, скажи, что ты будешь меня ждать!»

Да, все происходило как-то очень быстро. Я еще даже не решила, влюбляться ли мне в Юру, а тут разговоры о женитьбе... В этот момент его мать, вероятно слышавшая наш разговор из соседней комнаты, тактично заглянула в дверь и предложила чаю. Страшно смущенная, я выдернула руки и с благодарностью приняла предложенную чашку чая. Мое молчание Юру не остановило, он писал и звонил, настаивая на помолвке. «Но я даже не знаю, люблю ли я тебя!» — взывала я. «А я не могу уехать в Европу, если мы не будем помолвлены! — настаивал он. — Вдруг ты решишь выйти замуж за кого-нибудь другого? А я без тебя не могу жить».

Когда Юра поправился, он пришел к нам в гости, загнал меня в угол гостиной и потребовал окончательного ответа на свое предложение. К этому времени, однако, я точно поняла, что вовсе

не хочу становиться его невестой, раз я так и не сумела в него влюбиться. Я решительно посмотрела ему в лицо и сказала: «Я тебя не люблю. Я не могу стать твоей невестой, это будет нечестно».

К такому ответу Юра был совершенно не подготовлен. Потрясенный, он просто сидел и молча смотрел на меня глазами, полными слез. «Можно, я тебя поцелую?» — спросил он. «Да, ты можешь поцеловать мне руку», — сказала я и протянула ему руку. Юра прижал ее к своей мокрой щеке. «Ну что ж, тогда прощай. Я больше никогда тебя не увижу», — сказал он и ушел.

Той весной Юра уехал в Бельгию, и, как он и предполагал, мы больше никогда не увиделись. Это было первое откровенное объяснение в любви и первое предложение в моей жизни, и я записала все в дневник. Как это мучительно — влюбляться! Может, и хорошо, что я решила этого не делать. Что знала я тогда о сердечных делах?

Я жила в своем мире и не замечала того, что происходит вокруг, не заметила и начала тех событий, которые позже изменили мою жизнь. В 1929 году между советской и китайской сторонами возник конфликт по вопросу управления железной дорогой. Советское правительство призвало всех своих граждан, работавших на железной дороге, к забастовке. Штрейкбрехеры объявлялись «антисоветчиками».

Мирная жизнь в Харбине нарушилась, семьи разделились по политическим убеждениям. В одной и той же семье муж мог бастовать, в то время как жена продолжала работать. Школьники тоже должны были участвовать в забастовке: нам не велено было ходить в школу. Некоторые оставались дома, другие шли в классы. Многие работники железной дороги не имели советских паспортов, и советское правительство призывало всех получить советское гражданство. Кто-то соглашался на это, другие же предпочитали оставаться «эмигрантами». Мой отец отказался участвовать в забастовке. Как врач он считал невозможным оставить больницу и пациентов. Я продолжала посещать уроки, а мама заменяла у нас в школе учительницу биологии.

После того как конфликт был улажен, советское правительство отомстило тем, кто оказался «нелояльным». На смену всем, кто отказался получить советский паспорт, из Советского Союза привезли новых рабочих. Уволили даже тех советских граждан, кто продолжал работать во время забастовки. Для города начались новые времена — безработица, неуверенность, горечь и даже отчаяние.

В школе атмосфера тоже переменилась. Возвращались дети, чьи родители бастовали, их встречали как героев. К нам же, не

пропускавшим уроков, относились как к «предателям». Теперь это была настоящая советская школа: на нас давили и пытались заставить «заклеймить» своих родителей, если они не участвовали в забастовке. Классными старостами выбирались молодые коммунисты, и они считали нас, не бастовавших, «нелюдьми». Они утверждали, что мы предали свою страну и, следовательно, потеряли все свои права. Любой соученик мог донести на нас, обвинить в «уклонизме».

Некоторые учителя тоже вели себя по отношению к нам злобно и презрительно. Небастовавших учителей уволили и заменили приезжими из Советского Союза. Прилагались большие усилия к тому, чтобы внедрить в нас истинное марксистско-ленинское понимание преподаваемых нам предметов. В «Войне и мире» моим любимым героем всегда был князь Андрей. Теперь на уроках литературы предлагалось считать его «представителем класса землевладельцев и угнетателей». Больше он не мог быть подходящим объектом моего восхищения. Русскую историю, естественно, теперь приходилось «подгонять» к линии коммунистической партии.

Для меня дополнительным ударом стало вскоре изменение политического и общественного положения моей семьи. Отец подвергся жестокой критике за его «предательское» поведение во время забастовки, после чего он решил, что пришло время порвать с советским правительством. Он уволился из больницы и отослал наши паспорта советскому консулу, сообщая ему, что мы больше не желаем быть советскими гражданами.

Когда в школе узнали, что мой отец «перешел на сторону врага», учителя и одноклассники стали буквально преследовать меня, я страдала от откровенной враждебности и насмешек. Некоторые даже отказывались здороваться со мной в коридорах. Я потеряла нескольких друзей: они объяснили, что им «не советуют» общаться со мной. Я была раздавлена, тем более что все еще намеревалась вернуться после окончания школы в Россию и «служить» русскому народу. Когда-то, еще в Москве, меня заклеймили кличкой «врага народа». Я забыла об этом, но «они» помнили.

К несчастью, я в это время была влюблена в своего «классового врага». Звали его Виктор, он был старше меня на год, сильный, широкоплечий, спортивный юноша, происходивший из рабочей семьи. Уж он-то точно не был «врагом народа» и не подлежал уничтожению. Ему суждено было строить новую, советскую Россию. Он без всякого сомнения посвятил себя «благородному делу Революции» и вступил в коммунистическую партию. Это меня очень впечатлило.

В предыдущем учебном году Виктор за мной ухаживал, провожал домой из школы, ездил на велосипеде под нашими окнами и присылал мне по почте письма, хотя мы каждый день виделись в школе. Оказываемые им столь явные знаки внимания не могли оставить меня равнодушной, да я и сама, признаться, чувствовала, что нас физически влечет друг к другу. Все было очень мило и невинно — мы даже не держались за руки, не то что не целовались. Нам нравилось быть вместе, мы подолгу гуляли (кажется, прогулки входят в русский ритуал ухаживания), говорили о книгах и просто наслаждались общением друг с другом. В 1929 году Виктор примкнул к забастовщикам, стал активистом подпольной коммунистической группы, занимавшейся саботажем действий китайского правительства. Со мной он перестал видеться. Когда мой отец «предал» Советский Союз, Виктор порвал со мной всякие отношения. Я понимала, что он должен был это сделать, и приняла его решение за благородную жертву делу, которое я тоже считала правым.

Вскоре, однако, до меня дошли слухи, что у Виктора новая подружка. Принять это было значительно труднее, чем «благородную жертву» во имя революции, тем более что новая подруга, по сведениям моих одноклассников, была одной из «плохих» девиц. (В это время понятие «плохой» девицы включало уже несколько большее, чем просто ночные поездки с мальчиками на такси.) Когда я сталкивалась с ними на школьных концертах или в театре, Виктор сухо со мной здоровался и выглядел очень несчастным.

В это время я заканчивала последний класс. Каким-то образом мне удалось хорошо окончить школу, несмотря на бурные переживания. Я страдала от головных болей, похудела и замкнулась в себе; родители опасались нервного срыва. Мне было одиноко, я чувствовала себя не в своей тарелке, старых друзей потеряла, других заводить не хотела. К новому общественному положению семьи я привыкала с трудом.

Мы больше не принадлежали к советской общине, а русские эмигранты в большинстве своем относились к нам с недоверием. К счастью для моих родителей, они всегда пренебрегали принятыми в обществе нормами и собрали вокруг себя разнородное общество друзей-эмигрантов. Они были этому даже рады: перемена избавила их от необходимости общаться с теми, кого они презирали.

Моим единственным утешением стала музыка, она переносила меня в другой мир, где мне ничто не угрожало, где я была популярной и вызывала всеобщее восхищение. Я ходила в местную музыкальную школу и очень серьезно работала над

техникой игры на фортепьяно. Я играла часами. У нас с мамой был довольно обширный репертуар, и мы играли по вечерам в четыре руки.

Грустно было покидать нашу официальную резиденцию, прощаться с моей милой комнатой и садом. Наша семья переехала в квартиру в шумном торговом центре Харбина, в районе Пристань, где отец открыл частный медицинский кабинет. Дела у него шли хорошо, но ему было тесно в новых условиях, и он начал поговаривать о постройке дома в «калифорнийском» стиле в пригороде Харбина.

Родителям удалось скопить значительную сумму денег, пока отец работал на советское правительство. Мама с энтузиазмом отнеслась к папиному плану, хотя и настаивала на том, что часть денег должна быть отложена на мое образование. К сожалению, нанятый отцом архитектор оказался скорее фантазером, чем профессионалом-проектировщиком. Сумма, на которую мы рассчитывали и которую могли потратить, выросла в десять раз, и к концу строительства от семейных сбережений ничего не осталось.

Но все же дом был построен, и мы в него въехали. Это был большой двухэтажный кирпичный особняк с величественным парадным входом, высоким сводчатым потолком в гостиной, посередине которой был устроен камин. Столовая была большая, со стеклянными стенами и дверями, выходившими прямо во внутренний дворик. К столовой примыкал зимний сад — или что-то подобное, называемое «флоридской комнатой». В доме было двадцать семь окон, и все разные, отличавшиеся и размером, и формой, и стилем. На втором этаже фасад украшали балконы в новоорлеанском стиле. Потом я много ездила по Калифорнии, но никогда не видела ничего похожего на этот наш «калифорнийский» дом, выдуманный архитектором-фантазером.

Мы въехали в этот великолепный дом осенью и скоро обнаружили, что у нашего камина восхитительная тяга — огонь в нем горел ярко и жарко, но дров на него нужно было больше, чем мы могли себе позволить. С наступлением холодной погоды мы обнаружили также, что печь, которая должна была обогревать весь дом, также требовала необычно большого количества топлива. Когда же выпал первый снег, стеклянные стены столовой покрылись льдом, и все растения в зимнем саду замерзли.

«Ну, — сказала мама, — думаю, этой зимой мы нечасто будем приглашать гостей на ужин. Давайте лучше запрем столовую и забудем о зимнем саде».

«Я мало знаю о климате в Калифорнии, — заметил отец, — но думаю, мой друг забыл, что здесь климат все-таки сибирский».

Единственным теплым помещением в доме была кухня, и два наших слуги-китайца отказывались из нее выходить.

Жизнь в доме, о котором так мечтал мой отец, оказалась чрезвычайно неудобной. В эту первую зиму мы старались проводить побольше времени в постелях под грудами одеял. Мы надевали по несколько слоев теплой одежды и собирались вместе в одной комнате наверху, когда в широкие окна нашей гостиной задувал холодный ветер. Еще одним непредусмотренным недостатком было местоположение дома. Когда отец решил построить его на окраине, он не задумывался о том, как мы будем попадать в город. Оказалось же, что единственным способом добраться до города была двадцатипятиминутная прогулка по грунтовой дороге к конечной остановке трамвайной линии.

Отец продолжал принимать больных в городе, но зарабатывать на жизнь становилось все труднее. Харбин изменился. Люди с деньгами уезжали в Европу, США или в другие китайские города. Поговаривали о приближающейся опасности японской оккупации Маньчжурии и о том, что советское правительство готовится продать свою часть Китайско-Восточной железной дороги Японии и увезти всех своих граждан в СССР. В такой ситуации жизнь для людей без паспортов, какими мы теперь являлись, представлялась особенно трудной.

Во-первых, мамина мечта о европейском образовании для меня теперь стала неосуществимой. Сбережений у нас больше не было. Тем не менее я твердо решила тем или иным способом продолжить свое образование. Оно мне было нужно, и уже не по возвышенным соображениям о самоусовершенствовании или просвещении, а просто потому, что надо было чем-то зарабатывать на жизнь. Семья больше не была тем теплым гнездышком, где можно укрыться от любых напастей, и я точно уже не собиралась возвращаться в Россию и «служить народу».

Советский Союз при Сталине в 1930-х годах был довольно страшным местом. С тех пор как отец отказался от советского гражданства, все связи с нашими родственниками и друзьями в России оборвались. До нас дошли известия о том, что оба моих двоюродных брата, Боря и Шура, арестованы и отправлены в лагерь, что дядя Виктор работает в Монголии, и никто не знал, где тетя Ася. *Я* уже не могла отмахиваться от этих фактов или находить им оправдание. Теперь у меня были серьезные сомнения относительно «правого дела» и моральной убедительности коммунистической доктрины о том, что цель оправдывает средства.

ГЛАВА 4 Японская оккупация

В Харбине было несколько высших учебных заведений: Педагогический институт, Ориентальный институт, Политехнический институт и Юридический факультет (юрфак), в котором было два отделения — юридическое и экономическое, с программой, построенной по европейскому образцу. Курсы велись на русском и китайском языках.

Я выбрала экономическое отделение Юридического факультета. Это казалось наиболее практичным и прямым путем к получению работы. На всякий случай, однако, я записалась на оба отделения — экономическое и юридическое. Это должно было удвоить мои шансы на будущее устройство. Впрочем, оказалось, что выбор на самом деле не имел значения. Не прошло и года, как японские войска вошли в Маньчжурию и заняли Харбин.

Как-то утром мы рано проснулись от гула артиллерийского обстрела. В нескольких местах на город упали бомбы, и через несколько часов война закончилась. Оказывается, японцы уже давно готовили это нападение. Они были хорошо оснащены и хорошо организованы, и китайские войска не могли долго сопротивляться.

Из окон нашей спальни мы видели, как предусмотрительные китайские солдаты бросали оружие и военную форму в кусты и торопились в город, чтобы слиться с толпой гражданских лиц. Японская оккупационная армия вошла в Харбин и водрузила японские флаги на всех официальных зданиях. Городом теперь управляло японское военное командование, и управляло сурово.

Большинство иностранных консульств отослало своих сотрудников и всех граждан своих стран домой. Для русских японцы создали специальное Бюро по делам русских эмигрантов, которое вскоре взяло на себя зловещую роль решать, кто «достоин доверия» и заслуживает определенных привилегий, а кто является потенциальным «врагом японских интересов». Подозревали всех русских, имевших ранее связи с СССР, и наша семья попала в эту категорию. Состоятельные бизнесмены и их семьи, намеревавшиеся уехать из Харбина, тоже считались потенциальными «врагами» и испытывали немало трудностей, пытаясь получить выездные визы.

Русская эмигрантская община в Харбине состояла из многих политических групп и течений, от монархистов до социалистов. Российскую фашистскую партию, поддерживаемую теперь японской армией, создал в 1925 году молодой, харизматический ее вождь Константин Родзаевский. До 1932 года фашисты были

небольшой, плохо организованной группой молодых людей, открыто проповедовавших антисемитизм и часто провоцировавших уличные драки. Японцы предложили Родзаевскому свою поддержку. Они подстрекали его набирать молодых русских эмигрантов в армию освобождения их родины. Родзаевский и его группа получили как политическую, так и финансовую поддержку, им выдавали форму и армейские сапоги, и они маршировали по Харбину, приветствуя друг друга фашистским салютом.

Идея освобождения родины от коммунистов импонировала многим русским эмигрантам, и престиж и популярность фашистской партии возрастали. Не приходится и говорить, что японское командование преследовало собственные цели и часто использовало молодых русских фашистов в качестве исполнителей сомнительных операций. Некоторые русские интеллектуалы в нашей общине, поддерживавшие фашистские идеи, были сторонниками теорий Муссолини о корпоративном государстве. Два влиятельных профессора-юриста, у которых я слушала лекции, считали, что фашизм позволит определить экономическое и политические будущее России.

В то время я мало обращала внимания на местную политику. Я честно заучивала заданный материал, получала хорошие отметки и вела все тот же мне привычный, скучный образ жизни: ежедневные длинные поездки в институт и обратно.

Среди преподавателей Юридического факультета было несколько выдающихся профессоров, попавших в Харбин в результате неожиданных поворотов русской истории. Я помню лекции блестящего петербургского юриста, профессора Н.В. Устрялова, который, несомненно, занимал бы какой-нибудь высокий министерский пост в царской России, если бы она продолжала существовать. Профессор был импозантным, а его лекции намного превосходили уровень большинства студентов нашего провинциального института. Этот красноречивый, обладающий даром убеждения оратор возглавлял политическое движение «сменовеховцев», пересматривавшее октябрьский переворот в новом свете и призывавшее к объединению «старой» и «новой» России.

Не многие разделяли политические теории Устрялова, но его полемические статьи, исступленно пророчествующие о том, что великая русская революция «выметет и очистит мир», часто публиковались в русской эмигрантской печати. Теперь, после долгого периода коммунистического правления, мир не принимает «великую русскую революцию», принесшую всем только беды и разорение. Сам же Устрялов разделил судьбу

многих своих современников: он и его семья исчезли в одном из советских концлагерей.

Выделялся среди преподавателей и профессор Валентин Александрович Рязановский, специалист по китайскому и монгольскому праву. Его жена, Нина Федоровна, описала жизнь эмигрантского Харбина в своих романах, а двое их сыновей, Николай и Александр, позже стали ведущими американскими историками.

Слушая курс русской истории, я заинтересовалась Московским государством XV века. Я много читала и написала курсовую работу на эту тему, и профессор поставил мне за нее высокую отметку. Любила я и экономику, главным образом, думаю, потому, что «романтизировала» своего преподавателя. Это был худой близорукий человек, немного заикавшийся, проводивший многие часы в библиотеке, согнувшись над книгами. Трагическая фигура...

Несмотря на длинный путь от дома до института и общее беспокойство за судьбу города, я получала хорошее образование и вовсе не была несчастной. В первые годы учебы, однако, у меня было мало друзей. Молодые люди, изъявлявшие желание проводить меня после вечерних занятий, обычно отказывались от этой идеи, узнав, где я живу. Длинный путь пешком от конечной остановки трамвая до дома таил опасности. Несколько раз ко мне приставали пьяные японские солдаты, и я должна была спасаться бегством. Порой я слышала, как в мою сторону стреляют.

На третьем курсе я познакомилась со студенткой Анной Гинзбург, и дружба с ней продолжается по сей день. Дочь известного юриста, она тоже стала юристом и работала сперва в Шанхае, а потом адвокатом в Австралии, где в конце концов и поселилась. Я навестила ее в Сиднее в 1989 году; Анна, счастливая бабушка четырех внуков, только что получила докторскую степень по антропологии. А тогда, в Харбине, Аня и я подолгу гуляли по городу и серьезно разговаривали о жизни, учебе, науке и нашем будущем. Обе мы были привлекательными девушками, но мужчин в нашей жизни не было. Любопытно, что мы даже никогда не говорили на темы любви, ухаживания, замужества.

После отказа отца от советского гражданства я больше не была вхожа в советскую общину Харбина и могла свободно знакомиться с когда-то запретной жизнью Харбина эмигрантского. Так, я узнала о литературном обществе

«Чураевка »[4], собиравшемся в здании YMCA[5]. Эта организация, основанная американскими миссионерами в Китае, немало сделала для русских эмигрантов. Она предоставила

обществу «Чураевка» возможность регулярных собраний, поддерживала русскую школу и циклы лекций по русской культуре. На собраниях «Чураевки» молодежь могла встречаться и общаться с интеллектуалами разных политических убеждений.

В Харбине, кроме приверженцев традиционных направлений славянофилов и западников, существовала и сильная группа сторонников евразийской исторической школы, так называемые «евразийцы», во главе которых стоял известный писатель Всеволод Иванов[6]. Были еще «сменовеховцы» Устрялова, поклонники фашизма итальянского типа и последователи русских религиозных философов (таких, как Семен Франк, Николай Бердяев, Николай Федоров). Нередко эти собрания переходили в жаркие споры между сторонниками разных политических или культурных направлений. В центре интересов всех этих групп стоял вопрос: «Куда идет Россия?»

Эти споры открывали мне глаза на многое. В советской школе меня учили только марксистско-ленинскому пониманию истории. Увлекшись евразийскими аргументами, что прошлое и будущее России связаны более с Востоком, чем с Западом, я написала на основе этих идей курсовую работу о русской истории. На мою беду, профессор истории исповедовал другое философское направление, и я попала в трудное положение. Узнав о моих затруднениях, Всеволод Иванов, любящий побороться с противниками, стал уговаривать меня защищать свое право на высказывание «собственного» мнения. Хотя я и могла обосновать свои тезисы, однако благоразумно решила не становиться жертвой во имя идей Иванова и переписала свою работу.

В 19 лет я вступила в «Чураевку», думая, что, может быть, захочу когда-нибудь стать писательницей. Мои родители давно писали и публиковались, отец был признанным поэтом, а мама — автором двух романов. Дома у нас часто бывали литературные вечера, и на собрания «Чураевки» приходили некоторые из наших гостей. Меня знали как дочь доктора и госпожи Жемчужных, тихую девушку, привлекательную и, возможно, с некоторыми литературными способностями.

Я никогда не участвовала в спорах и вообще почти ни с кем не говорила, хотя действительно немного писала для себя. Царили на собраниях «Чураевки» две молодые поэтессы — Лариса Андерсен и Лидия Хаиндрова. Лариса была красивой, высокой и стройной. Ее прекрасное лицо с серо-зелеными глазами всегда имело несколько отрешенное выражение (мне кажется, она была очень близорука, а носить очки не хотела). Она сама знала, что красива, и принимала ухаживания мужчин так же естественно, как королева принимает выражения преданности от своих

подданных. Лидия тоже была довольно привлекательной и имела свой круг поклонников.

Харбинские писатели старшего поколения — Алексей Ачаир[7], Арсений Несмелов[8], Василий Логинов[9] и Всеволод Иванов — были более известны. Среди же молодых членов «Чураевки», кроме Ларисы Андерсен и Лидии Хаиндровой, следует отметить талантливых поэтов Валерия Перелешина[10], Михаила Волина, Василия Обухова[11] и Николая Щеголева[12], но лишь немногие из них были известны за пределами Китая. К счастью, в Америке издатель и коллекционер книг Эдуард Штейн собрал литературу русского эмигрантского Харбина, и благодаря его труду читатели в США и России могут теперь познакомиться с произведениями харбинских писателей.

В своих мемуарах «Русская поэзия и литературная жизнь Харбина и Шанхая, 1930-1950» Валерий Перелешин, один из самых известных поэтов, вышедших из «Чураевки», ярко описывает жизнь талантливого, молодого и нищего поэта в Харбине. Многие были детьми когда-то знаменитых в России семей, которых революция выгнала из дома. Лишенные родины, они упорно держались за свой язык и за любовь к русской культуре. Своими учителями они считали великих русских поэтов и не сомневались в том, что они — тоже русские поэты. «Вечера под зеленой лампой» (так назывались поэтические собрания «Чураевки») немало способствовали превращению начинающих поэтов в мастеров своего призвания. Помимо поэтов, на чураевских сборищах можно было встретить немало яркой и одаренной молодежи.

К концу чураевского «зимнего сезона» был опубликован один мой рассказ, и я тоже стала объектом внимания двух поэтов — Василия Логинова и Василия Обухова. Василию Логинову было тогда, наверно, лет сорок пять. Знакомы мы были давно: он постоянно участвовал в литературных вечерах моих родителей и даже какое-то время жил у нас, когда у него кончились деньги. Происходил он из семьи богатых сибирских купцов и никак не мог привыкнуть к совершенно другой жизни, начавшейся после революции. Ушибленный революцией, он вел богемный образ жизни не потому, что это ему нравилось, а потому, что он просто не умел зарабатывать на жизнь и как-то устраиваться. Образование он получил очень хорошее, классическое, читал по-латыни и по-древнегречески, но влачил нищенское и какое-то безысходное существование.

Приходя в наш дом, он начинал смотреть на меня сквозь толстые стекла очков, курить одну папиросу за другой и тяжело вздыхать. Иногда я вступала с ним в серьезные беседы о

глубинном смысле моих любимых стихов, а русскую поэзию он знал прекрасно. Но я не понимала ни его боли и отчаяния, ни его чувства по отношению ко мне. Я могла мимоходом сказать подруге Елене: «Думаю, Логинов в меня влюблен», но ничего не чувствовала по отношению к этому грустному человеку и его любовь не приносила мне ни радости, ни удовольствия. Я сохранила маленькую рукописную книжечку его стихов, посвященных мне. Перечитав их недавно, я была глубоко тронута нежностью и заботливым отношением ко мне, сквозящих в этих стихах. Мы ничего о нем не слышали после нашего отъезда из Харбина.

Второй мой поклонник, Василий Обухов, был интересным мужчиной лет под тридцать. Он принадлежал к ядру литераторов «Чураевки» и регулярно печатался. На одном из собраний Обухов подошел ко мне и спросил: «Можно мне проводить вас домой?» — «Мне было бы очень приятно, — ответила я, польщенная его вниманием. — Но я живу на самой окраине, и последний трамвай...» Он не дал договорить, подал мне пальто, и мы отправились. Сели на трамвай, доехали до конечной остановки и пошли по пустынной грунтовой дороге к дому, разговаривая об общих знакомых и о прочитанных книгах. Когда мы дошли до ворот дома, он попросил разрешения прийти в гости.

Пришел он в следующее воскресенье, и мои родители пригласили его на ближайший литературный вечер. Вскоре Василий Обухов занял постоянное место рядом со мной на собраниях «Чураевки», встречал меня после института и провожал до дома. Он уже не прощался у ворот, а заходил в дом, выпивал чашку чая или гулял в саду, и почти все свободные дни мы проводили вместе. В его стихах, публиковавшихся в литературных изданиях Харбина, встречалось мое имя, и в обществе говорили о моей «победе». Была весна, и я с удовольствием принимала ухаживания Василия. Мне было очень интересно слушать про его жизнь, и я сочувствовала его переживаниям, понимая, как трудно быть эмигрантским поэтом, обреченным на жизнь в изгнании.

Конечно, было наивно с моей стороны ожидать того, что Василий долго будет довольствоваться такой степенной и приятной формой общения. Он явно хотел от меня большего, чем просто прогулки и разговоры. Шли недели, и я начала бояться его внезапных вспышек страсти, которые не вызывали у меня никакой ответной реакции. Наоборот. Я пугалась и отшатывалась от него, а Василий впадал в состояние раскаяния и горя.

В один из вечеров Василий провожал меня домой, мы ехали в трамвае. Вдруг я заметила женщину средних лет, пристально смотрящую на меня с нескрываемой ненавистью. Я отвернулась,

но, когда мы вышли на своей остановке, за нами вышла и эта женщина. Василий увидел ее и быстро потянул меня в сторону со словами: «Пожалуйста, не обращай на нее внимания. Я ее знал, но после встречи с тобой сказал ей, чтобы держалась от меня подальше. Я с этим разберусь, не беспокойся».

Не понимая, что происходит, я чувствовала ее взгляд всю дорогу. Действительно, она шла за нами. Когда мы дошли до дома, Василий прижал меня к себе и сказал: «Что бы ни случилось, помни, что я тебя люблю. Я тебя люблю и хочу на тебе жениться. Моя жизнь без тебя ничего не стоит». После этого он отпустил меня и побежал за женщиной, прошедшей мимо нас. Я была потрясена и опять отметила для себя с удивлением, что все эти «любовные переживания» приносят, видимо, только несчастье.

Я решила посоветоваться с родителями. Мама спросила: «Ты любишь Василия?» Я колебалась. «Возможно, что люблю». — «Ты собираешься за него замуж?» — продолжала допытываться мама. Я подумала минуту и ответила: «Конечно, не сейчас, ведь я еще даже не уверена, действительно ли я его люблю». Мама покачала головой. Я никак не становилась взрослой! «Очевидно, — сказала она, — эта женщина была его любовницей, и, вероятно, довольно долго. Наверное, она заметила, что Василий к ней охладел, а потом узнала и о тебе. Может получиться очень неприятная история... Думаю, тебе не следует видеться с ним какое-то время и дать себе спокойно разобраться в том, любишь ты Василия или нет».

Я была поражена маминой мудростью. Откуда она все это знала? Отца эта история раздражала, но он согласился с матерью и добавил: «И он не должен больше приходить к нам на литературные вечера».

На следующее утро Василий появился у наших дверей. Не терпящим возражений тоном отец объяснил ему, что при данных обстоятельствах ему лучше у нас не появляться, разве что я сама захочу его видеть. От него стали приходить страстные письма с мольбами о прощении и воплями отчаяния: «Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я не могу жить без тебя!»

В конце концов я все-таки решила, что не люблю Василия, раз я не испытываю такого же, как он, страстного желания соединить наши жизни навсегда. Я так и написала в одном из писем ему и попросила оставить меня в покое. Он послушался, но еще какое-то время я замечала его на лекциях, которые посещала. Он приходил к моему институту, шел за мной по улицам, прячась в тени деревьев. Какое-то время спустя один наш общий друг попытался вступиться за Василия. Он сказал мне, что Василий в отчаянии и что я должна перестать вести себя как испуганный

ребенок и положить конец страданиям Василия.

«Боюсь, что не могу ему помочь, — твердо ответила я. — Я его не люблю».

На следующий день этот же друг опять подошел ко мне и очень сердито сказал: «Ну вот, добилась! Василий пытался покончить с собой, его спасла та женщина. Сейчас он в больнице. Неужели ты не пойдешь навестить его?»

Мысль, что молодой человек может захотеть покончить жизнь самоубийством из-за того, что я не ответила на его любовь, меня очень испугала. Я этого не понимала. Была ли в этом моя вина? Может, я должна была быть мягче, не отвергать его любовь так резко и откровенно? Я не знала, что делать. Но мама предостерегла меня против встречи с Василием. «Все уже закончилось, — сказала она. — Он слабый человек, и он теперь опять с той женщиной. Не говори только, что ты передумала и действительно влюбилась в Василия!»

Я не передумала, но отчаянные крики: «Я тебя люблю, я не могу без тебя жить!», которые я слышала порой от разных мужчин, всегда напоминали мне о Василии. Их я тоже не любила.

Между тем жизнь в Харбине становилась все сложнее. В 1933 году советское правительство начало переговоры с японцами о продаже им своей части Китайско-Восточной железной дороги. Сделка состоялась в 1935 году, и начался исход русских из Харбина. Советское правительство предоставило возможность вернуться на «родину» как советским, так и не советским гражданам. Для многих решение было мучительно. Заключались скоропалительные браки, распадались многие старые браки. Одни покидали родителей, а другие провожали своих родителей на вокзал, чтобы больше никогда их не увидеть. Люди знали, что сталинская Россия — отнюдь не страна обетованная, но для многих просто не было иного выхода.

Мы с мамой пошли проводить одного нашего друга. На станции не было счастливых лиц. Одни были угрюмы, другие — решительны. Некоторые тихо плакали, другие громко рыдали, обнимаясь и прощаясь, умоляя остающихся: «Пишите! Пожалуйста, пишите и не забывайте нас!» Позже мы узнали, что то, чем встретила их «родина», превзошло самые худшие их опасения. Когда поезд пересек советскую границу, его окружили отряды красноармейцев. Всем пассажирам приказали выйти, а вещи оставить в поезде. Потом их повели в сторону от станции. Кто-то оглянулся и закричал: «Смотрите! Наш поезд отходит! А наши вещи? Остановите поезд!» Люди бросились назад, но были быстро остановлены военными. Поезд так и не вернулся, а все имущество «возвращенцев» досталось советскому государству. В

суматохе нескольким из них удалось бежать и спрятаться, потом они нашли приют у каких-то добрых людей. Остальные были задержаны и рассортированы по принципу их «полезности» советскому государству. Большинство попало в исправительно-трудовые лагеря, из которых мало кто вышел живым. Об этом «счастливом возвращении домой» мы в Харбине узнали гораздо позже. Мне это рассказал один из счастливчиков, сумевших выжить, который потом каким-то образом добрался до Соединенных Штатов.

Японская оккупационная армия, заправлявшая всем в городе, всячески притесняла оставшихся в Харбине русских. Армия привезла японских железнодорожников на смену русским, закрыла многие принадлежавшие русским предприятия и магазины и быстренько организовала марионеточное китайское правительство. Новую столицу «государства Маньчжоу-го» Чжанчжун японцы построили в довольно отдаленной от всего местности. Спроектирована она была с размахом — широкие проспекты, мраморные колонны... В одиноком великолепии там восседал император Пу И, наследник Маньчжурской династии, бессильная кукла в руках японцев.

К Российской фашистской партии японцы потеряли былой интерес, и щедрая финансовая поддержка ее прекратилась. Лидеру партии Константину Родзаевскому и его последователям японцы советовали «творчески » подходить к вопросу о финансировании партии. Участились случаи ограбления поездов, похищения людей, вооруженных нападений, распространились наркотики и проституция. Харбинские граждане оказались бесправны и бессильны: они не могли обращаться за помощью к полиции, потому что городом управляла японская армия, которая и сама нередко была причастна к этим криминальным действиям. Японские власти винили в этом разгуле преступности китайских бандитов — хунхузов, и под предлогом борьбы с ними армия проникала все глубже в Маньчжурию и все туже закручивала гайки.

Самым ужасным случаем стало похищение молодого пианиста Семена Каспе, учившегося во Франции и приехавшего в Харбин погостить у отца, богатого ювелира. За него у семьи потребовали огромный выкуп. Старик Каспе оттягивал, не имея на руках нужной суммы. Тогда бандиты отрезали Семену уши и в аккуратной коробочке прислали отцу, приложив записку с обещанием прислать пальцы Семена со следующей почтой. Старый Каспе имел связи по всему миру, история наделала шуму, но еще до того, как выкуп был доставлен, местная полиция нашла изуродованный труп Семена.

«Нам, по крайней мере, не угрожает похищение, — сказала моя мама. — Все знают, как мы бедны».

Наша семья еле-еле сводила концы с концами. Отец прекратил свою городскую практику, а наш дом превратил в подобие санатория, где лечил пациентов и оставлял некоторых на период выздоровления.

Весной 1932 года в Харбине произошло разрушительное наводнение. Река Сунгари вышла из берегов и затопила улицы, нанеся неисчислимый ущерб магазинам, конторам, складам и нарушив жизнь горожан. Наш дом стал прибежищем для людей, чье жилье было разрушено; большую часть дома сняла богатая китайская семья. Они приехали в сопровождении целого каравана рикш, везущих ценное имущество, и со свитой прислуги.

Скоро все наши комнаты были сданы, и мы переехали в сарай в дальнем конце сада. Дом наш оказался все-таки замечательным местом, по крайней мере, большую часть года, увы, за исключением зимы. В саду цвели разные кусты, разливая в воздухе аромат и свежесть; мы выращивали собственные овощи. Воду качали из скважины с настоящей ключевой водой, и, совсем неожиданно, эта вода стала источником дохода нашей семьи. Отец занялся продажей воды в бутылках.

Все производство разместилось на нашей кухне. К этому времени у нас уже не было слуг-китайцев. Отец наполнял бутылки, а мама приклеивала этикетки. Потом отец развозил бутылки с водой на деревянной китайской тележке, запряженной осликом. Вскоре отец стал продавать также и сельтерскую воду.

Однако это новое наше занятие лишь ненадолго облегчило нашу судьбу. Мы знали, что наше «преуспевание» — временно, и понимали, что оставаться дальше в Харбине рискованно и опасно. К тому же японская армия стала конфисковывать дома и могла конфисковать наш в любую минуту, тем более что они начали строить недалеко от нас аэродром.

Однажды весной 1934 года к нашим воротам подкатил большой лимузин. К тому времени мы уже въехали обратно в дом. Увидев выходящего из лимузина японского офицера, мама отослала меня с сестрой наверх. Быстро попудрив нос и приведя себя в порядок, мама открыла дверь. Адъютант сообщил ей, что японский генерал желал бы посмотреть дом.

Из окна верхнего этажа мы наблюдали, как похожий на куклу самурай в длинном одеянии выходит из машины и изящно движется к дому. У него была прозрачная кожа цвета слоновой кости и длинные, сужающиеся к концам пальцы — образ из другого века! Войдя, он церемонно поклонился матери и спросил, говорит ли она на европейских языках. Мама кивнула. Генерал

улыбнулся и сказал: «Мне было бы чрезвычайно приятно, если бы мадам согласилась говорить по-французски».

В этот момент всем показалось, что интерес генерала к дому как-то улетучился. Он бегло оглядел столовую, рассказывая матери, что учился в Сорбонне, и спросил, может ли он приехать снова, чтобы еще раз поговорить с ней по-французски. «В эти времена, — сказал генерал, — для меня чрезвычайно важно иметь возможность заново пережить счастливые дни моей юности в европейском доме».

Генерал вернулся два дня спустя и спросил, можно ли выпить чаю в беседке, которую он заметил при первом посещении. Его адъютант пошел вперед и проверил беседку, а потом проводил туда генерала и мою мать и подал им чай. Очень странное было зрелище: японский генерал, вспоминающий счастливые дни в Париже, и мама, радующаяся отдыху от наклеивания этикеток на бутылки.

Генерал приезжал несколько раз, и каждый раз адъютант провожал его в беседку, а сам шел в дом за мамой, которую очень официально провожал к элегантно сидящему в беседке генералу.

Отец, никогда сам генерала не видевший, настаивал, чтобы мама воспользовалась случаем и попросила у генерала каких-нибудь привилегий. Но мама отказывалась. Сама она просто получала удовольствие от этих цивилизованных визитов.

Однажды, где-то в конце лета, генерал не прошел, как обычно, в беседку, а ждал маму у двери. Он сообщил ей, что хотел бы сделать «хозяину дома» предложение, а именно: он хотел бы купить дом и будет благодарен, если доктор назначит цену.

Отец немедленно велел матери просить тридцать тысяч американских долларов — астрономическая сумма, особенно принимая во внимание наши обстоятельства и дефекты дома, делающие его невыгодным приобретением. Мама взывала к разуму отца, уговаривала соглашаться на любые предложения, даже на пять тысяч долларов. Но отец не уступал. На долю мамы выпала неблагодарная задача сообщить об этой непомерной цене генералу. В конце концов безрассудность отца таки принесла нашей семье тридцать тысяч американских долларов, наличными! Мы были богаты, но у нас не было документов и мы не могли уехать из Харбина. Тогда мама попросила генерала помочь, он быстро устроил нам необходимые бумаги, и мы смогли переехать в Тяньцзинь.

Я была на последнем курсе института, поэтому осталась в Харбине и сняла комнату у одной семьи в центре города. Владельцы квартиры — преуспевающий предприниматель, его

жена и дочь — мне были рады. Дочь находилась в интернате, а муж с женой часто уезжали из города по делам фирмы.

Моя большая, удобная комната обеспечивала мне полную автономность. Там даже стояло пианино. В последний год учебы в музыкальной школе у меня было двое молодых друзей, товарищей по занятиям, — Алексей Абаза, одаренный композитор, и Нана Шварцбургер, блестящий пианист. Алексей был высоким, стройным блондином в очках, Нана — красивым, веселым и обаятельным.

Теперь я жила совсем рядом со школой, и мы трое часто собирались в моей комнате после уроков. Они садились за пианино и соревновались в импровизации. Алексей останавливался на середине музыкальной фразы, Нана ее подхватывал, развивал и вновь «перекидывал» Алексею. Это было очень весело, и впервые я не только слушала музыку, но и участвовала в ее создании. Мы играли наши любимые произведения, хваля и критикуя друг Друга.

Когда Нана готовился к концерту, мы внимательно прослушивали всю его программу. Каждое свое новое произведение Алексей сначала показывал нам. Это была замечательная тесная, нежная дружба, запомнившаяся на всю жизнь. Длилась она всего несколько месяцев. Алексей вскоре переехал в Токио. Потом я узнала, что он стал профессором Токийской Академии музыки, женился на японке и стал известным композитором. Нана уехал в Советский Союз, о его дальнейшей судьбе я ничего не знаю.

Когда в 1935 году советское правительство продало свою часть Китайско-Восточной железной дороги японцам, это было началом конца русского Харбина. Большинство моих друзей уехали, дети Зарудные (к тому времени их отец уже умер) переехали в Соединенные Штаты. Им повезло: их благодетель американец Чарльз Крейн продолжал помогать им после смерти отца, оплатил дорогу до Бостона, помог окончить высшие учебные заведения и вообще заботился о них, пока они не выросли и не нашли свое место в жизни.

Совершенно неожиданно в моей жизни вновь появился Виктор, «верный коммунист», шесть лет назад в школе примкнувший к забастовщикам. Он участвовал в организации репатриации советских граждан из Харбина. За прошедшие после забастовки шесть лет он заходил ко мне несколько раз, никогда надолго не задерживался и почти ничего не говорил. Его визиты были тяжелы мне. Я по-прежнему чувствовала влечение к нему, но сознавала, что это ни к чему не приведет. Он был коммунистом, а я — нет. Он уезжал в Советский Союз, я на это

была не готова. Мы оба понимали, что у нас не может быть никакого будущего. Из-за различия в политическом положении (он — член коммунистической партии, я — «классовый враг») ему вообще не следовало бы общаться со мной...

...Накануне отъезда в Россию Виктор зашел за мной, и мы долго бродили по темным и пустым улицам в грустном молчании. Большая часть русского населения уже покинула Харбин. Наконец мы вернулись ко мне домой. Виктор обнял меня, взял мое лицо в свои руки и поцеловал долгим и нежным поцелуем. В этом первом — и последнем — поцелуе была вся тоска, любовь и боль прошедших лет. Дверь закрылась, Виктор ушел.

Оставшись одна, я почувствовала острую боль по всему телу. Я надеялась, я ждала чуда: вдруг Виктор скажет: «Я не могу без тебя жить, поехали со мной!» или «Я не могу тебя оставить! Я останусь с тобой!» Но чуда не случилось, он ушел.

Сегодня я поражаюсь силе характера Виктора, или это была сила партийной дисциплины? Что мог сделать такой молодой убежденный коммунист, как Виктор? Его приучили подавлять свою индивидуальность, подчинять свою волю воле партии. Он и так нарушил партийные правила, общаясь с «классовым врагом». Он знал, что, встречаясь со мной, рискует своим положением в партии, но сделать последний шаг и переступить партийные границы он не мог.

Его боль при расставании со мной была искренней, как и его любовь ко мне. Я в этом не сомневалась. Конечно, уехав один, он поступил правильно. Вместе мы бы в Советском Союзе не выжили, а оставшись со мной, он потерял бы себя. Я плакала, и теперь я понимаю, что плакала не только о пропавших годах, о том, что «могло бы быть», но еще о жестокости исторических сил, так изуродовавших нашу жизнь, и идеологических догм, делавших нас бессильными.

На следующее утро я издали смотрела, как поезд, на котором уезжал Виктор, покидает Харбин, и представляла в воображении, как в последний момент Виктор спрыгивает с поезда и бежит ко мне — настоящая романтическая развязка!

Я получила от Виктора весточку из Советского Союза. На письме стоял штамп Воронежа. Какое невероятное совпадение, что из всех советских городов Виктор оказался именно в Воронеже, родном городе семьи моей матери! Его письмо было довольно сухо, он просто сообщал мне, как обещал, что доехал и где находится. Его направили на интересную работу, которая занимала все его время. Мне было ясно, что он пытается оставить прошлое в прошлом, что он намерен продолжать идти по жизни

раз и навсегда выбранным путем.

Ответила я тоже без лишних эмоций. Я сдала уже к тому времени все экзамены и должна была скоро соединиться со своей семьей в Тяньцзине. Слова любви, тоски и боли остались несказанными, и я его больше никогда не видела.

Недавно я получила письмо от одной бывшей своей одноклассницы, теперь живущей в Москве. Описывая свою жизнь после Китая, она упоминает и Виктора. Они оба оказались в одном и том же лагере в Магадане. Она пишет:

«Первый раз я увидела его шагающим в колонне заключенных, во второй раз он сопровождал группу тяжелобольных заключенных в больницу.

Нам удалось обменяться несколькими словами. Виктор сказал, что его арестовали в 1937 году и отправили на сибирские шахты. Однажды зимой на этапе из одного лагпункта на другой он упал, и его бросили замерзать в снегу. И только благодаря протесту других заключенных конвоиры откопали его и доставили в больницу. Ему ампутировали все пальцы левой руки и хотели сделать то же с правой, но он не позволил.

Когда узнали, что он закончил три курса мединститута, его оставили при лагерной больнице в качестве санитара. Ему повезло — там было тепло, хоть как-то кормили и не нужно было возвращаться в шахту. Я не знаю, где он теперь и жив ли вообще. У меня в памяти будто кадр из кинофильма: высокий, сильный, суровый мужчина на фоне зимнего сибирского пейзажа».

Несчастный Виктор! Каким сокрушительным ударом должен был быть этот арест после стольких лет слепого служения делу революции! И никогда уже ему не играть на скрипке — ведь пальцев на левой руке нет! Я читала и перечитывала письмо и теперь тоже вспоминаю Виктора не юношей, каким знала его в Харбине, а заключенным ГУЛа-га, «высоким, сильным, суровым мужчиной на фоне зимнего сибирского пейзажа».

После отъезда Виктора из Харбина я энергично взялась за подготовку к трудным выпускным экзаменам по шести предметам. Между ними должно было быть по недельному перерыву. Экзамены проводились публично в зале, где за большим, покрытым зеленым сукном столом сидели восемь или десять профессоров — экзаменационная комиссия. Студент вытаскивал билет с несколькими вопросами и мог выбирать, с какого вопроса начать ответ, и потом подвергался перекрестному опросу профессоров, и эта процедура длилась около часа. Иногда мне казалось, что экзаменаторы выставляли свои знания напоказ

друг перед другом: они сосредоточивали внимание на какой-нибудь мельчайшей детали, а потом вдруг переходили к самым общим вопросам.

Мой первый экзамен прошел благополучно, хотя я очень волновалась. Второй тоже начался хорошо, но вдруг профессора попросили меня соотнести мой ответ с темой предыдущего экзамена. Я оцепенела. Я совершенно не помнила тему предыдущего экзамена!

Профессор спросил: «Можете ли вы привести в пример какой-либо пункт международного права в вашем ответе?» Я молча смотрела на него. Говорить я не могла...

...Вдруг мне показалось, что они все говорят со мной одновременно.

«Простите меня, — сказала я, — но я не могу привести ни одного примера. Я не помню».

Повисла изумленная тишина, потом послышалось перешептывание. Они решили поставить мне неудовлетворительную оценку. У них не было другого выхода, как они мне объяснили. Мои друзья по институту и некоторые преподаватели, меня знавшие, очень расстроились: я хорошо училась и мне уже предлагали остаться в аспирантуре института после его окончания. Я должна была стать ученой, и вдруг такой позор!

В состоянии оцепенения я пошла сразу домой. Что происходит? Почему моя голова отказалась работать? Почему я не могла заставить свой ум действовать? Мне было страшно думать о том, насколько я ***слаба*** и уязвима. Я хорошенько поплакала и заснула.

На следующее утро я получила разрешение от своего профессора пересдать экзамен. Отвечала я очень хорошо и все остальные экзамены сдала без затруднения.

Так закончилась моя харбинская жизнь. Я уехала с дипломом в сумочке и присоединилась к своей семье в Тяньцзине. О трагической судьбе Харбина мы узнали потом из рассказов тех русских, которые оставались там до 1965 года. В 1930-х годах японская оккупационная армия плохо обращалась с русским населением города, но это не шло ни в какое сравнение с теми издевательствами, унижениями и преследованиями русских, которые принесла с собой «победоносная советская армия-освободительница».

Многие русские харбинцы с радостью встречали своих «братьев», испытывая патриотическую национальную гордость. Они были на стороне СССР во Второй мировой войне и с нетерпением ждали этого дня. И то, что с ними сразу же стали

обращаться как с врагами, явилось для них полной неожиданностью. Начались массовые аресты, убийства ***тл*** в чем не повинных гражданских лиц, изнасилования, грабежи и воровство. Как пьяные, так и трезвые советские солдаты врывались в частные дома и забирали все, что им понравится. Для многих было бы гораздо легче страдать от иностранцев, чем от рук своих соотечественников.

Высшее советское командование отдало приказ о массовой депортации остававшихся на тот момент в Харбине русских. Тех, кто пытался обратиться за выездной визой в любую другую страну, подвергали унижениям и преследованиям, в визах им отказывали. Люди знали, что их ожидает по возвращении на родину, — унижения и заключение в исправительно-трудовые лагеря. Удалось сбежать и спастись лишь нескольким харбинцам.

Сегодня уже нет Советского Союза, и я хочу надеяться, что эта черная глава в его истории — уничтожение Харбина — будет присоединена к длинному списку преступлений, совершенных советским правительством. Туристы, приезжающие сегодня в Харбин, не находят даже следа «самого большого русского города за пределами России». Ничего не осталось — ни русских церквей, ни кладбищ, ни зданий, ни людей. Мало кто из живущих там китайцев знает, что Харбин был когда-то процветающим русским городом с населением в двести тысяч человек.

ГЛАВА 5 Тяньцзмнь

Было лето. Наша семья сняла дом на берегу моря в Пей-тахо, популярном китайском курортном местечке, где горы обрамляли берег и выдавались в море, образуя уютные бухточки и причудливые нагромождения камней. В последние свои месяцы в Харбине я очень похудела, страдала от головных болей и головокружений, иногда у меня поднималась температура.

Мама несколько раз робко спрашивала: «С тобой что-нибудь случилось в Харбине? Очень сложные были экзамены?» Видя, что я не собираюсь облегчать душу признаниями, она оставляла меня в покое.

Я много спала, читала или гуляла одна по морскому берегу и писала рассказы — главным образом об одиночестве и о том, как с этим одиночеством справляться. Меня обуревали сомнения, сейчас бы это назвали «личностным кризисом». Потерпела ли я неудачу как женщина? Действительно ли я любила Виктора? Если да, то почему я его отпустила? Способна ли я вообще любить? Потерпела ли я неудачу как ученый? После того случая в институте могла ли я считать себя ***настоящим*** интеллектуалом? Что будет со мной дальше? В чем мой «долг перед государством»? Каким государством? И как насчет «служения народу»? Какому народу? Стоила ли моя жизнь что-нибудь?

Однако в сентябре, когда мы вернулись в Тяньцзинь, мои страдания пошли на убыль и я начала осваиваться. Город был одним из важнейших промышленных и торговых центров Китая. После поражения боксерского («ихэтуаньского») восстания в 1900 году (это была провалившаяся попытка очистить страну от «иностранных дьяволов»)

Тяньцзинь превратился в цитадель многонационального колониального правления.

Город был разделен на несколько концессий и перестроен на европейский лад, на широких проспектах располагались магазины таких великих столиц мира, как Лондон, Париж и Берлин. Рестораны, кафе и ночные клубы были всегда полны. Существовали частные клубы и загородные клубы для британских, французских, немецких и американских граждан, где проводились соревнования по поло, футболу и теннису. В выходные дни устраивались танцевальные вечера, а по случаю государственных праздников или особых событий — настоящие балы. Это был «нормальный колониальный стиль жизни» на маленьком островке безопасности, окруженном морем дружественных и услужливых азиатских лиц.

На высшей ступени неофициальной колониальной иерархии стояли британцы: солнце над их империей еще не зашло. Кто поверил бы, что через несколько месяцев японская армия будет маршировать по Виктория и британские подданные подвергнутся унижениям и жестокому обращению? Но в 1935 году все было еще «нормально» — британский флаг гордо развевался на Виктория-роуд и войска четырех главных держав устраивали военные парады, маршируя по городу под аплодисменты и приветственные крики толп европейцев и китайцев.

В русском обществе Харбина эмигранты не чувствовали себя «иностранцами», но в Тяньцзине и Пекине все мы, белые люди, независимо от гражданства и национальности, были иностранцами и временными жителями. Китайцы терпели наше присутствие, получали от него пользу и прибыль, но никогда не позволяли нам почувствовать себя своими. В отличие от эмигрантских общин в Париже, Берлине или Нью-Йорке, которые со временем влились в местное население, русские эмигранты в Китае всегда оставались чужаками. Живя обособленно, русские все же общались с другими иностранцами. У некоторых состоятельных русских эмигрантов были швейцарские, бельгийские или латвийские паспорта.

В Харбине наши контакты с китайцами ограничивались общением со слугами-китайцами и редкими выходами за пределы русского города, чтобы посмотреть на празднование китайского Нового года. В Тяньцзине мы жили в близком соседстве с местным населением; иностранные кварталы были только маленькими островками в большом городе. У наших домов на обочине улицы сидели рикши, в ожидании пассажиров обедая или обмениваясь новостями и слухами. Китайские торговцы носили свои товары в больших корзинах, свисающих с длинной палки, которую они держали на плече. Завидев потенциального покупателя, они мгновенно раскладывали свои товары. Портные, сапожники, парикмахеры и гадалки занимались своим бизнесом во дворах и в переулках иностранных кварталов.

Я была зачарована постоянным потоком двигающихся фигур, нестройным шумом разных по тону и высоте голосов. У отца появилось несколько пациентов-китайцев. Богатые китайские семьи нанимали врача для поддержания здоровья всех членов семьи, в том числе и слуг. Врачу платили по договоренности, он мог сам выбирать время своих визитов, и, если семья оставалась здоровой, его контракт возобновлялся на следующий год. В какой-то мере он сам становился членом семьи, его приглашали на семейные праздники: свадьбы, Новый год и т.п.

Сначала мы жили во французском квартале, потом переехали

в британский. Семья наша жила хорошо, разумно тратя деньги, заплаченные японским генералом за наш дом в Харбине. Отец опять открыл кабинет, мама нашла новых друзей, вступила в Международный женский клуб и занималась делами русской общины.

Сестра моя Нина подрастала. Она была живым, привлекательным подростком, и в нашем доме обычно крутились какие-нибудь мальчики. Родители, как всегда, окружили себя разными интересными людьми. Большинство их друзей были русскими, которым хватило благоразумия (или просто денег) на то, чтобы вовремя покинуть Харбин и поселиться в Тяньцзине.

Мы все знали об агрессивных замыслах японцев захватить Китай и имели все основания думать, что это им удастся. Мы отдавали себе отчет, что Тяньцзинь — только временная остановка на пути нашего «изгнания», однако жизнь в русской общине протекала так же, как и в Харбине: дети ходили в русские школы, существовали русские литературные и театральные клубы, давались благотворительные балы, а православные церкви занимались нашими духовными нуждами. Многие из нас втайне надеялись, что, может быть, на этот раз исторические бури пронесутся мимо.

В Тяньцзине я на время отложила свои планы «служить народу» и решила заняться более выполнимым делом — выучить английский язык. Я учила английский в школе в Харбине и потом брала частные уроки у пожилого англичанина, пытавшегося — безуспешно — научить меня говорить, не шевеля губами, как должна говорить настоящая «английская леди». Он наверняка сомневался, действительно ли я принадлежу к семье из хорошего общества, поскольку такой способ говорить мне никак не давался!

Я поступила в школу при католическом монастыре. Там меня определили в шестой класс, и не только из-за моего неважного английского, но в основном из-за роста: столы и стулья в этом классе были почему-то больше, чем в других. В программу входили арифметика, география и история. Учились там девочки разных национальностей, но преподавание велось целиком на английском. Я думала, что такой метод «полного погружения» станет наикратчайшем путем к тому, чтобы я по-настоящему выучила английский язык. Неожиданностью для меня стало то, что я совершенно не понимала учителей, не могла следить за их объяснениями. У моих одноклассниц были свои трудности, и я не могла просить их о помощи, хотя как-то и договорилась с русской девочкой, сидевшей передо мной: я решала ее арифметические задачи, а она переводила то, что говорила учительница. Но после того как учительница отчитала ее за разговоры в классе, я

оказалась предоставленной самой себе. Я терпела эту муку месяц и в конце концов должна была признать, что «полное погружение» мне не помогало. Я ушла из школы.

В этой школе произошла очень интересная встреча. Идя однажды по коридору, я узнала одну молодую монахиню. Это была Евгения, моя одноклассница по харбинской школе! Я обратилась к ней, но она не ответила. Я не могла ошибиться! На следующий день я вышла за ней во двор и встала прямо перед ней. Очень спокойно она мне сказала: «Да, я была той, кого ты думаешь, что узнаешь, но я больше не твоя бывшая одноклассница. Я — сестра Агата. Нам нечего сказать друг другу». И быстро ушла. Я была поражена ее невероятным перевоплощением из пухленького смешливого подростка в спокойную, уверенную в себе католическую монахиню! Вскоре после того как я ушла из школы, я опять увидела Евгению — сестру Агату — на улице. Я подошла к ней и сказала: «Я так рада за тебя. Ты сделала выбор и, кажется, нашла свой правильный путь в жизни».

«Ты права, — спокойно ответила сестра Агата. — У меня был выбор: стать любовницей японского солдата, проституткой или самоубийцей. Моих родителей забрали японцы и отправили работать в провинцию, а наш дом в Харбине конфисковали. Я осталась одна, почти все русские, которых мы знали, уже уехали. Меня подобрали на улице монахини и предоставили мне еще один вариант — стать одной из них». Прощаясь, она твердо сказала: «Прошу тебя, не заговаривай больше со мной».

Рассказ Евгении меня потряс. Как нам повезло, что наша семья осталась вместе и что нам удалось бежать!

После монастырской школы я учила английский самостоятельно. Я брала большой словарь и заучивала в алфа**битном** порядке по двести слов в день. Еще я читала популярные английские романы Элеоноры Гвин, которые были написаны достаточно просто для моего понимания. Но говорить я толком не могла и потому решила организовать обмен уроками. Я поместила в местную английскую газету объявление, предлагая уроки фортепьяно в обмен на разговорный английский. Вскоре мне позвонил американский юноша и сказал, что мое предложение его заинтересовало, что работает он в Британско-Американской табачной компании и немного говорит по-русски — это родной язык его родителей.

На следующий день он пришел, и я начала урок музыки с объяснения важности правильной постановки руки. С самого начала мы встали перед непредвиденной проблемой: его ноги были такие длинные, что он никак не мог правильно сидеть за

пианино. Довольно скоро стало ясно, что он не особенно стремился выучить ноты. Он только хотел разучить какую-нибудь мелодию и барабанить ее по клавишам. «Извините, но я не думаю, что смогу вас этому научить», — сказала я. На это он весело ответил: «Ну ничего, учите меня как вам хочется или вообще не учите. Неважно. Мне просто взбрело в голову немного поиграть на рояле. Забудем об этом. А английскому я вас и так научу».

Такое предложение я принять не могла. Ведь он пришел на урок, и если вдруг решил не учиться музыке, то, следовательно, он не мог учить меня английскому! Сложившаяся ситуация явно казалась ему забавной. Он сказал: «Подумайте. Мне нечего делать, а вам нужна помощь с английским. Почему вы не разрешаете вам помочь?»

Я внимательно на него посмотрела. Он был примерно моего возраста, высокий, симпатичный и, кажется, действительно искренне хотел мне помочь. «Вот что, — сказал он, — я приду завтра, и мы посмотрим, что у нас получится». С этими словами он пожал мне руку и ушел.

Я пошла за советом к маме. «Если он хочет с тобой заниматься, то почему бы и нет? — спросила мама. — Кажется, он довольно симпатичный молодой человек ». Я, однако, подозревала, что в намерения этого симпатичного юноши входили не только английские уроки.

Он пришел на следующий день вечером, и мы говорили с ним по-английски больше часа, пока я совсем не измучилась от напряжения. Он заметил мою усталость и сказал: «В следующее воскресенье мы пойдем гулять. Вы любите гулять? »

После его ухода мама спросила: «А где виноград, который я поставила на обеденный стол?» И тут я вспомнила, что, когда мы сели за стол в столовой, этот «симпатичный молодой человек» воскликнул: «Виноград!» и постепенно все съел. Я же так старалась поддерживать разговор по-английски и понимать его американский акцент, что не обратила на это внимания. «Ну-ну, — сказала мама, — уж не знаю, в какой семье он воспитывался!»

В следующее воскресенье мы пошли в парк, расположенный в русском квартале. Он привык подолгу ходить, как и я. Этому меня научила мама, а она прошла школу ходьбы в Швейцарии, когда училась в Женевском университете.

Скоро мы нашли еще одно общее увлечение — фотография. На следующую прогулку мы взяли фотоаппараты. Мы прекрасно ладили. Ему нравилось говорить, а я умела слушать. Мне казалось, что я действительно делаю успехи в английском. Теперь по вечерам я заучивала из словаря уже не двести, а только сто

слов.

Как сильно отличался этот человек от моих русских поклонников! Он всегда был весел, судьбы мира его не интересовали. Все было о'кей. Он водил меня в кино, потом пригласил на бал, организованный Британской благотворительной организацией. Танцевал он великолепно! Я никогда еще ни с кем не танцевала в такой близости, но, поскольку так танцевали все пары, я не беспокоилась и наслаждалась прекрасным вечером. После бала он отвез меня домой и, собираясь уходить, сказал: «Я должен поцеловать вас на прощанье. Это американский обычай». Я подставила щеку, и он ее чмокнул. Расстались мы очень друг другом довольные.

Я подумала, что мне повезло. Он совсем как мой кузен Виктор! Мы с Виктором тоже обнимались и целовались, но он был для меня всегда только хорошим другом. Может, и в этот раз обойдется без всяких этих сердечных штучек?

Но мои иллюзии скоро рассеялись. Через несколько недель мой «кузен » заявил, что он меня любит. Какое разочарование!

«Простите, но я вас не люблю», — заявила я ему со свойственной мне прямотой, надеясь, что этого будет достаточно. Он же настаивал: «Но я вам нравлюсь?» С этим я вынуждена была согласиться, но это ведь не означало, что я его люблю, и сказала, что при данных обстоятельствах нам лучше больше не встречаться. Он попытался меня переубедить: может, я к нему привыкну и полюблю со временем. Но я ничего не хотела слушать. Он заметно огорчился, явно не ожидая такого упрямого отказа. «Но я говорю серьезно! — настаивал он. — Я хочу на вас жениться».

«Как странно! — подумала я, — Ты говоришь человеку, что ты его не любишь, а он в ответ предлагает пожениться!» Вслух я сказала: «Как вы можете просить меня выйти за вас замуж? Как вы можете на мне жениться, зная, что я вас не люблю?»

Он ответил: «Я знаю, что я вам нравлюсь, и у нас так много общего!» Кроме прогулок, танцев и фотографии, у нас не было ничего общего. Что знал он о моем внутреннем мире?

Я решила быть покатегоричней: «Простите, если я вас обижаю, но мы должны прекратить всякие отношения. Спасибо за помощь с английским». И, к большому его удивлению, я протянула ему руку, которую он молча пожал. После этого он ушел.

Когда я рассказала своей многострадальной маме об очередном предложении выйти замуж, она вздохнула:

«Придется тебе как-нибудь самой выучить английский». Что я в конце концов и сделала.

Профессор Чепурковский, один из друзей моих родителей, предложил мне организовать учебную группу «способных молодых людей», желающих узнать побольше о Китае. К нему обратилось немецкое издательство, задумавшее издавать ежемесячный журнал на русском языке, и такая группа могла бы стать редакционной коллегией этого журнала. Я не знала никаких «способных молодых людей», которым можно было бы доверить такое дело, но профессор Чепурковский заверил меня, что он мне поможет найти их к началу выпуска журнала.

Через три или четыре дня мы организовали редакционную коллегию, и встречаться она должна была в нашем доме. Профессор Чепурковский председательствовал, представляя нас друг другу: там было пятеро мужчин разного возраста — двое русских, кореец, китаец и японец. Я знала только одного, экономиста, учившегося на Юридическом факультете в Харбине. Четверо остальных, таинственные незнакомцы, свободно говорили по-русски, по-китайски и, я подозреваю, на некоторых других языках.

Собрание проходило очень организованно и по-деловому. Новый журнал должен был называться «Китайский вестник», его цель — знакомить русских читателей с разными сторонами жизни Китая, его историей, культурой и обычаями. Мои родители тоже вошли в редакционную коллегию, и отец согласился делать переводы китайской поэзии с помощью китайца, члена коллегии. Мама вызвалась написать серию очерков о флоре и фауне Китая. Я же должна была заведовать отделом текущих событий — подбирать месячную хронику новостей из русских, английских и китайских источников. Меня также попросили писать очерки, представляющие интерес для широкой публики.

Мы составили план на первые шесть выпусков, и каждый пообещал представить материалы и статьи по своей области знаний или интересов. Главным редактором был Всеволод Иванов, опытный журналист, сотрудничавший с различными русскими изданиями. Издательство «Пей-Янг Пресс» хотело выпускать престижное издание: нам они платили очень мало, но на фотографии или цветные вклейки денег не жалели.

Первый номер журнала — привлекательная, небольшого формата книжка в тридцать страниц — вышел в марте 1936 года. Отзывы были положительные, и издательство поняло, что не прогадало. Этот проект меня воодушевил, потому что мне нравилось пробовать свои силы и способности среди мужчин, обладавших несомненно большей квалификацией для такой работы, чем я.

Редакционная коллегия собиралась в нашем доме раз в две

недели, и я не могла не заметить, что на этих собраниях все постоянно друг за другом следили, а их вопросы и замечания часто не имели никакого отношения к журналу. Когда присутствовал профессор Чепурковский, казалось, что только я одна интересуюсь делом и вообще слушаю его рассказы. Я не понимала, что происходит. На третье собрание не пришел кореец. Мы пытались его разыскать, но по тому адресу и телефону, которые он нам оставил, о нем ничего не знали. Я начала подозревать, что в нашей группе происходит что-то странное. Однако это никого не беспокоило, даже тогда, когда на следующее собрание не пришел уже и японец. И опять все попытки его найти успехом не увенчались. Третьим исчез русский историк, и тоже оказался «невидимкой». Как ни странно, издатели нисколько не волновались из-за постепенного исчезновения редакционной коллегии.» Наконец на четвертом номере журнала ушел и Всеволод Иванов. Очень любопытно!

А вскоре после этого в русской ежедневной газете появился большой заголовок: «Советский шпион разоблачен». На фотографии мы узнали одного из пропавших членов нашей редколлегии. В статье сообщалось, что Тяньцзинь стал центром международных шпионских организаций.

«Ну вот, — заметила мама за ужином, — значит, наш дом служил местом встречи международных шпионов. Но кто за кем шпионил? Издательство — немецкое, и все эти люди попали к нам через издательство. Немцы сотрудничают с японцами, а советские всегда ловят рыбку в мутной воде».

Профессор Чепурковский заверил нас, что понятия не имел о том, что редакционная коллегия интересовалась чем-либо, кроме журнала. «Конечно, — добавил он задумчиво, — их всех порекомендовали издатели. Но зачем?»

Как я позже узнала, в 1935-1936 годах Тяньцзинь действительно был местом бурной подпольной деятельности. В это время знаменитый авантюрист и двойной агент Тре-бич-Линкольн сделал этот город своим «опорным пунктом». Он выдавал себя за буддистского монаха. Высокий представительный человек с бритой головой в развевающихся монашеских одеждах, он ходил по нашим улицам в сопровождении небольшой группы учеников. Я иногда их видела во время своих прогулок в парке старого русского квартала. Требич-Линкольн снимал большой дом в дальнем углу парка. Дом был заброшенным и явно требовал ремонта. Ученики выглядели бледными и слабыми. Их всех окружала какая-то тайна. Однажды ночью отца срочно вызвала полиция, чтобы помочь группе женщин, умиравших, как казалось, от голода. К нашему немалому удивлению, они

оказались «учениками» Требича!

Эти восемь женщин были из Бельгии, они последовали за Требичем-Линкольном в Тибет и потом в Китай в поисках «глубинного смысла жизни». Они отдали ему все свое состояние и согласились на монашескую аскетическую жизнь, включая обет молчания. Они жили в нищете и голодали в этом огромном доме, пока Требич-Линкольн совершал одну из своих очередных таинственных поездок. Женщин отвезли в больницу, связались с бельгийским консулом, и скоро их отправили на родину.

Вскоре после этого эпизода Требич-Линкольн вернулся в Тяньцзинь и нанес визит моему отцу. Он поблагодарил его за услуги и полностью оплатил счет. На отца этот странный человек произвел большое впечатление, и отец пригласил его остаться на ужин. Я сидела напротив него за столом и понимала, почему бельгийки последовали за ним в Тибет. Этот человек с бритой головой, глубоко посаженными горящими темными глазами, худым телом в буддистском одеянии и с изысканной британско-европейской речью был неотразим. Меня заинтриговало это странное сочетание религиозной позы, мессианского напора, мании величия и беспринципного авантюризма. Это был действительно очень опасный человек. Недавно я прочитала его биографию, написанную Бернардом Вассерстайном, «Тайные жизни Требича-Линкольна ». Кажется, он был венгерским евреем, дважды сменившим религию и основавшим собственную буддистскую секту. Он был членом британского парламента и немецким шпионом в период обеих мировых войн. Когда я его встретила, странствования забросили его в Китай, где он стравливал китайских военачальников друге другом и в конце концов дождался и приветствовал японских захватчиков. Вассерстайн называет Требича-Линкольна «маниакальным мессией», претендовавшим на то, что свою власть он получил «свыше». Все это казалось очень интересным, но я была рада, что после того ужина мы больше никогда его не видели.

Когда задумывался наш русскоязычный журнал, японцы закрепили свои позиции в Маньчжурии и подошли к осуществлению главного плана — завоеванию Китая. Это угрожало колониальным интересам, а Гитлер в это время готовился к нападению на Европу. Немецкое издательство вполне могло служить прикрытием, а русский журнал и наш дом — местом встречи их агентов. Шпионили ли члены редакционной коллегии и за нами? Или просто использовали нас в своей игре? Журнал перестал выходить после шестого номера, и вся эта история меня порядком деморализовала.

К счастью, в это время уже существовал человек, который мог

мне помочь. Это был очаровательный русский юноша, его звали Толя. Я встретила его еще в Харбине, а теперь он жил в Тяньцзине с матерью и младшей сестрой. Его покойный отец был крупным банкиром в дореволюционной России, а после революции сумел добраться с семьей до Китая. Это были милые люди, принадлежавшие к высшему обществу и совершенно неприспособленные к эмигрантской жизни. Толя был прекрасным товарищем, начитанным, чутким, умеющим хорошо выражать свои мысли. Мы подолгу гуляли, он водил меня в кино (тогда я обожала Грету Гарбо). Мы никогда не говорили о таких прозаичных предметах, как работа, деньги или наши шансы на выживание: мы прятались от реального мира, искали безопасное убежище, место, где можно было побыть одним, в покое, с нашими книгами, музыкой и мечтами. Мы оба испытывали глубокое отчаяние из-за неумения действовать перед лицом неопределенного будущего.

Я настаивала на чисто дружеских отношениях, а бедный Толя, как ни старался, не мог справиться со своими чувствами. И опять я услышала то же отчаянное объяснение в любви.

Я знала, что я в него не влюблена, но если бы он мог предложить мне где-нибудь в мире тихую и безопасную гавань, то я, возможно, вышла бы за него замуж, и даже с радостью. Семья его вскоре уехала из Тяньцзиня и поселилась в Гонконге. Недавно мне сказали, что Толя стал врачом и теперь живет в Израиле.

Не имея подруг своего возраста, я стала постоянной спутницей своей матери и сопровождала ее на множество общественных мероприятий. Одна из маминых приятельниц, Матильда Генриховна Зиссерман, сильно повлияла на мою жизнь. Она была родом из Вены, но вышла замуж за русского. У них было четверо сыновей, учившихся в то время в Европе, и дочь-подросток. Ее муж поехал в Европу с младшим сыном, чтобы помочь ему устроиться в школе в Вене, и теперь никак не мог вернуться в Тяньцзинь.

По-русски Матильда Генриховна говорила с сильным акцентом, но была великолепной рассказчицей. Я рядом с ней, затаив дыхание, слушала рассказы, переносящие меня в другой мир — блестящий мир довоенной Вены. Она родилась в богатой культурной семье, и за ней ухаживали многие известные молодые люди ее времени — поэты, артисты и музыканты. Она даже была знакома с Зигмундом Фрейдом. Очень красивая и умная, она покоряла мужчин, появляясь в опере или танцуя на балах. Влюбилась же она в русского офицера, вышла за него замуж и последовала за ним в Санкт-Петербург.

Матильда Генриховна прекрасно чувствовала себя в

петербургском высшем свете, общаясь по-французски или по-немецки, однако решила во что бы то ни стало выучить и русский язык. Когда они переехали в имение мужа недалеко от Тулы, по соседству с имением Льва Толстого, она задалась целью перед встречей со знаменитым соседом прочитать его книги в оригинале. При ее уме и упорстве ей это удалось. Матильда Генриховна не разделяла убеждения Толстого, что следует вести простой трудовой образ жизни и не гоняться за земными удовольствиями. Она в этом не видела никакого смысла и с жадностью наслаждалась всем, что предлагала ей жизнь. Но, увы, недолго. В 1914 году муж ее отправился на войну, и она оказалась отрезанной от своей семьи в Австрии. Революция и Гражданская война лишили ее имения и всего имущества. После победы Красной армии семья добралась до Харбина, разделив судьбу тысяч обедневших эмигрантов, а потом переехала в Тяньцзинь.

Разговоры с Матильдой Генриховной придавали мне смелости. Я видела, что можно не просто выжить при смене культурного пространства, но и найти в этом вызов своим силам, принять его и даже обновляться и обогащаться с каждой новой переменой.

«Это возможно, — говорила она твердо, — если ты не замыкаешься в себе, если ты слышишь, видишь, чувствуешь мир вокруг себя, если ты открыта новым впечатлениям и впитываешь их себе на пользу.

Конечно, — добавляла она, — надо стараться избегать скучных, глупых людей. Они обедняют все, к чему прикасаются ».

Я стараюсь следовать ее мудрым словам до сего дня.

Снова я встретила Матильду Генриховну в Лондоне после Второй мировой войны. Она соединилась с мужем и жила теперь с дочерью и внуками. Один из ее сыновей поселился в Новой Зеландии, и после смерти мужа она переехала к нему. Последний раз я видела ее в Нью-Йорке в 1961 году, где она остановилась по пути в Новую Зеландию. Ей было уже сильно за восемьдесят, но она сохранила живость и интерес к окружающему миру и по-прежнему рассказывала любопытнейшие истории. Когда я сама наконец попала в Новую Зеландию, я пыталась представить, как она там «впитывала» новые впечатления и обживала новый для себя мир.

Незадолго до кончины нашего «Китайского вестника» мне дали «задание» — поехать в Пекин и написать статью о китайских студентах и их отношении к Новой китайской политике Чан Кайши. Как раз тогда генерал порвал с коммунистами и пытался объединить страну под лозунгом Новой китайской политики,

ставящей целью развитие страны через индустриализацию, сотрудничество с Западом и постепенную демократизацию.

Я влюбилась в Пекин, бродя по лабиринтам узких улочек — даже не улочек, а проходов между стенами, за которыми скрывались частные дома и прелестные сады, — и исследуя парки и озера вокруг Запретного города[13]. Дворец увидеть было нельзя, виднелись только ярко раскрашенные крыши, увенчанные фигурками маленьких уродливых существ, охранявших дворец от злых духов. Мне нравилась суета городских торговых центров, каждая улица имела свое лицо и свое назначение: улица тканей, улица драгоценностей, улица кухонных принадлежностей, улица готовой одежды... Улицы с ресторанами еще издали манили восхитительными ароматами специй. Там подавали лучшую еду в мире!

Моими гидами были редактор нашего журнала Всеволод Иванов и его тогдашняя подруга Зоя. Оба были высокими, красивыми, эффектными, оба были остроумны, жизнерадостны, знали китайскую историю и культуру, прекрасно ориентировались в Пекине.

Иванов превосходно говорил по-китайски, почти как китаец, и когда он говорил со сторожами или охранниками, перед нами магически открывались все двери. Зоя была в дореволюционной России актрисой, но в эмиграции ей пришлось оставить это занятие. У нее был красивый глубокий голос, и она великолепно читала стихи.

Главным событием путешествия стало посещение императорского летнего дворца, примерно в часе езды от города. Был прекрасный весенний день. Мы ходили по дорожкам когда-то безупречно содержавшихся садов с арочными мраморными мостами, прудами и большим озером, где стояла на якоре знаменитая императорская мраморная лодка. Последняя императрица присвоила государственные деньги, предназначенные на развитие флота, и потратила их на этот великолепный памятник. Может быть, она не очень-то верила в свой флот.

Мы набрели на складское помещение, в котором хранились искусно изукрашенные императорские лодки и кареты, — темное, сырое место, все в густых зарослях, где развелось множество лягушек, и их громкий хор встретил нас, когда мы приоткрыли дверь и заглянули внутрь.

Потом мы нашли дворцовый театр, построенный в расчете на большую аудиторию, сцена была плотно закрыта занавесом. По просьбе Иванова сторожа раздвинули занавес, и Зоя взошла на сцену.

Иванов и я сидели целый час, затаив дыхание, а Зоя читала стихи, разыгрывала сцены из спектаклей, в которых она когда-то участвовала, ее великолепный голос отзывался эхом по пустым комнатам и галереям дворца.

На обратном пути Зоя плакала, а Иванов ее утешал, хотя и он, и я еле сдерживали слезы — слезы обо всех изгнанниках и жертвах истории.

Но были у нас и более веселые вылазки, особенно когда мы шли ужинать на какую-нибудь «ресторанную» улицу. Когда мы сворачивали в такую улицу, мальчишки, чьей работой было зазывать посетителей, начинали кричать: «Два больших белых человека и один маленький!» Зазывалы ссорились из-за нас, пытаясь затащить именно к себе, и в ресторане, на котором мы в конце концов останавливались, нас сажали за лучший стол и подавали самую лучшую еду. Это было замечательно! Мы так наедались, что еле вставали из-за стола.

В Пекине я посетила университет, среди студентов были мои знакомые. Как похожа была студенческая атмосфера на ту, что витала в России перед революцией, когда мои родители были студентами в Москве! Я узнала все признаки надвигающейся катастрофы, глядя, как они маршируют по территории университета с плакатами «Долой старый Китай!» и «Революция!».

Я была чужой, но на каком-то глубинном уровне чувствовала себя частью происходивших драматических событий. Китайцы стояли на пороге новой эпохи своей долгой истории, и эта новая эпоха разрушит традиционный стиль жизни и принесет раздоры, лишения и страдания.

Атмосфера в китайском обществе была наэлектризована беспокойством и неуверенностью. Нам, беженцам, пережившим подобные катаклизмы, хотелось крикнуть: «Стойте! Остановитесь! Не повторяйте наших ошибок! Мы знаем, что принесет революция вашей стране, вашему народу!»

Эти слова, написанные мною спустя шестьдесят лет, особенно горьки. Жестокая расправа «народного» правительства со студентами на площади Тяньаньмэнь еще раз доказала тщетность и неудачу китайской культурной революции.

«Ложь, написанная чернилами, не может затмить правду, написанную кровью», — написал в начале века китайский писатель Лу Синь. Китайские студенты, вышедшие на площадь, выкрикивали лозунги, в которых звенят потерянные иллюзии и обманутые надежды.

Пламенные революционеры 1936 года превратились в

неповоротливых, косных бюрократов 1989 года, отдавших приказ о расправе с новым поколением студентов, протестующих против сорокалетнего коммунистического правления.

Другие задания «Китайского вестника», связанные с поездками вглубь Китая, тоже позволили мне больше узнать о стране. Я достаточно хорошо говорила по-китайски, чтобы сориентироваться в деревнях и селах, находящихся неподалеку от колониального Тяньцзиня. Все чаще меня сопровождал в этих поездках мой американский друг, пришедший когда-то брать у меня уроки музыки, Эйб Биховски.

После того как я отказалась выйти за него замуж, мы несколько месяцев не виделись, но время от времени я где-нибудь с ним сталкивалась, и мы оставались как бы добрыми знакомыми. Когда мне для какой-нибудь статьи был нужен фотограф, я приглашала его, и он с радостью сопровождал меня. Мы хорошо ладили, и я действительно начала к нему привязываться. После закрытия «Китайского вестника» мне предложили преподавать русский язык и литературу в тяньцзиньской русско-еврейской гимназии.

ГЛАВА 6 Я выхожу замуж за американца

Еврейская русскоязычная община в Тяньцзине была очень разношерстной: одни недавно приехали из Харбина, другие эмигрировали еще до революции и их семьи занимали прочное положение в местном обществе и в торговых кругах, они родились в России, но были обладателями американских, бельгийских или швейцарских паспортов. Общим языком молодого поколения этой общины был английский, но дома их родители говорили по-русски и хотели сохранить связь своих детей с русской культурой. Поэтому они и организовали тяньцзиньскую русско-еврейскую гимназию.

Я преподавала в двух старших классах. Поскольку раньше я никогда не работала в школе, то придумывала программу на ходу. Результат обнадеживал: моим ученикам было интересно и они хорошо учились. К весне оба класса создали русское драматическое театральное объединение. Мы поставили спектакль для всей школы и пригласили родителей и их друзей. Моя «система» приносила плоды, и меня взяли на постоянную должность, что разрешило мои самые острые финансовые проблемы. Мои родители не отличались практичностью, и деньги японского генерала уже подходили к концу.

Отец, как всегда, лелеял честолюбивые замыслы, но его медицинская практика была очень скромной. Мама же нашла место преподавателя биологии и французского языка в русской эмигрантской школе, что позволяло моей сестре учиться в этой школе бесплатно.

Понимая, что нужно экономить, мы скоро перебрались из нашей замечательной квартиры во французском квартале в скромный домик в британских владениях. На первом этаже отец разместил свои кабинеты, на втором располагались спальня родителей и комната сестры, мне же отвели весь верхний этаж, то есть большой чердак. Наши слуги-китайцы, повар и мальчик-слуга, жили в задней комнате на первом этаже рядом с кухней.

Дом наш скоро превратился в некий молодежный центр. Моя сестра Нина, которой в то время было уже пятнадцать лет, была магнитом для мальчиков. Драматический клуб работал настолько успешно, что нам предложили представить программу из русских одноактных пьес в еврейском клубе «Кунст» («Искусство»), где была настоящая сцена. К нашему спектаклю отнеслись с большим энтузиазмом и волнением. Школа помогла нам с костюмами, и

представление имело огромный успех. Количество членов драматического общества резко выросло, как и количество желающих поступить в мой литературный класс. Старшая сестра Эйба, Эдит, преподавала в этой же школе английский. Она была важной персоной и активно участвовала в деятельности школьной администрации. Эдит была маленького роста, очень привлекательная и энергичная, совсем недавно она вышла замуж. Она не очень-то одобряла интерес своего младшего брата ко мне, называла это «чистым безумием». Но к тому времени я уже ему отказала, и Эдит расположилась ко мне, считая, что эта история благополучно закончилась. Мы встречались с ней за чашкой кофе и обсуждали наших учеников. Она была опытной, популярной, страстно преданной своей работе учительницей, и я смотрела на нее как на образец для подражания.

Я была довольна, преподавание давало моей жизни смысл. Я также продолжала писать, и русский журнал напечатал три моих рассказа. Но все же оставалось какое-то неясное чувство беспокойства и отсутствия четкой цели. Я по-прежнему раздумывала о своем «долге перед государством» и «служении народу». С другой стороны, я была так занята каждодневными делами — школой, драматическим обществом, походами с мамой на собрания ее клуба, дружбой с сестрой, что время летело быстро.

Нормализация жизни произвела свой эффект. Я хорошо чувствовала себя физически, веселилась, получала удовольствие от жизни, и иногда у меня проскальзывала мысль, что это и есть на самом деле смысл — хорошо себя чувствовать и радоваться жизни. Все остальные, казалось, думали, что этого вполне достаточно.

Пришло лето, и погода стала невыносимой. Когда же наступила ежегодная «великая жара» — период влажной, душной жары, все живое будто замерло. Температура поднялась до 40-45°, с каждым движением человека окатывал пот. Даже будучи неподвижной, приходилось постоянно менять одежду. Наша семья не могла больше позволить себе снять дом у моря, но мама узнала о том, что недорого сдается летний домик в горах недалеко от Пекина. Я однажды уже была в этом районе, Западных холмах, когда ездила в Пекин от «Китайского вестника». От города до этих холмов надо было ехать два часа, и климат там был ощутимо прохладнее. Когда-то туда любил ездить летом китайский император. Там же располагалось несколько буддистских монастырей, ранее процветавших, но теперь боровшихся за существование. Правительство их не поддерживало, богатые покровители исчезли, количество новых

послушников было столь малым, что многие кельи пустовали. Эти монахи и сдавали на лето помещения, в которых раньше размещались новообращенные.

Мама сняла домик около монастыря Спящего Будды. Мы с сестрой поехали первыми вместе с китайским поваром, а мама должна была присоединиться к нам позже.

Наш «дом», а точнее, глинобитная хижина стояла в небольшом дворике. Это помещение состояло из двух маленьких комнат и террасы. Мебели было немного — несколько табуреток и столов, складные койки. Готовили еду на походной кухне во дворе, где, кажется, спал и повар.

Храм Спящего Будды частично был окружен дворами, обнесенными стенами, каждый с воротами непростой конструкции: арки с тремя входами — парадный центральный для императора, другие, поменьше, слева и справа — для гражданских и военных придворных. С ярко раскрашенных арок облезала краска, некоторые уродцы на их острых крышах, чьим назначением было отпугивать злых духов, валялись на земле. Но, пройдя сквозь ворота во внутренний двор, охраняемый двумя огромными скульптурами — свирепыми великанами, человек невольно испытывал чувство священного ужаса, особенно при входе в храм, где находилась полулежащая фигура спящего Будды. Ярко-красное шелковое сари покрывало тело Будды, голова его была обернута синим тюрбаном, на лбу блестел драгоценный камень. Ноги его были босыми, но вдоль ложа стоял целый ряд искусно разукрашенных тапочек на тот случай, если он проснется и захочет встать и прогуляться по монастырю. Перед статуей Будды в больших бронзовых плошках курился ладан, там же были выставлены приношения верующих. Стены храма были золотыми, потолок — ярко-синим, в огромных фарфоровых вазах стояли искусно подобранные цветы. У входа рядом с гонгами стоял огромный барабан. Гонги возвещали начало вечерних молитв, входила процессия поющих монахов, и священнослужители выводили одно монотонное песнопение за другим, исполняя вечный, неизменный, древний буддистский обряд. После последних благословений процессия удалялась, тушились все светильники, кроме одного. При свете единственной свечи к барабану подходил монах, и начинался последний обряд — обеспечения безопасности монастыря на предстоящую ночь. Барабанный бой должен был изгнать злых духов. Монах начинал бить сильными, медленными ударами, а потом барабанил все быстрей и быстрей, как истинный виртуоз усложняя и учащая свои удары. Я не слышала такого барабанного боя ни до того, ни после. Уверена, что этот барабанщик мог бы

стать звездой в любом американском оркестре, если бы его услышал какой-нибудь американский импресарио и смог уговорить его покинуть монастырь. Почти каждый вечер мы с сестрой незаметно пробирались в храм и слушали этого барабанщика.

Нина и я проводили жизнь в приятном ничегонеделании. Поздно вставали, пили чай с гренками, потом сидели, читая или разговаривая, в тени старых деревьев. Мы не знали, какие указания должны давать нашему повару, поэтому сказали ему, что решили сесть на диету и не нуждаемся в его услугах. После этого мы видели его очень редко. Он или молился за свою душу, или бегал к какой-нибудь хорошенькой женщине. Дня через два он сказал, что ему нужно навестить свою мать, и ушел.

Ни я, ни сестра готовить не умели, так что питались фруктами, молоком и сырыми овощами. Такая беззаботная жизнь длилась, правда, всего четыре или пять дней. Семья русских эмигрантов, тоже отдыхавшая в Западных холмах, зашла к нам в гости и потом сообщила маме, что повар ушел, а ее дочери голодают. Услышав это, мама сорвалась, приехала гораздо раньше, чем собиралась, и быстро навела порядок. Опять появился повар, двор был подметен, продукты закуплены, и наша жизнь изменилась.

Под маминым предводительством мы уходили на долгие прогулки по горам. Недалеко от монастыря мы обнаружили горный ключ, который вливался в маленький пруд. Мы прыгали в ледяную воду, после чего растягивались на горячих камнях и обсыхали на солнце. Восхитительное ощущение! Мы почти никого не встречали во время наших путешествий, и ни разу никто не появился около «нашего» пруда — это было наше частное владение! Иногда я ловила себя на мысли: я счастлива, я действительно счастлива, как хорошо жить на свете!

В один прекрасный день, когда мы отдыхали после обеда, во дворе появился неожиданный гость. «Привет! Как вы поживаете? *Я* вот проходил мимо», — окликнул нас высокий, худой человек с большим рюкзаком за плечами. Это был Эйб Биховски.

«Проходил мимо, как же», — пробормотала мама. Но закон гостеприимства предписывал: любой гость, даже неожиданный или нежеланный, должен получить пищу и кров.

«Я вам не помешаю, — заверил Эйб маму. — У меня в рюкзаке палатка, я поставлю ее во дворе и буду там спать. И я принес кое-какие продукты». Он вытащил несколько консервных банок.

По маминому совету свою легкую палатку он поставил во внешнем дворе, а не в нашем дворике. Повар приготовил ужин, и

Эйб развлекал нас весь вечер рассказами и песнями. После ужина мы пошли погулять, только он и я. Было все так просто и легкомысленно, так весело: молодой человек и девушка гуляли при луне, радуясь жизни, радуясь возможности разделить друг с другом красоту этой ночи. Старый китайский монастырь превратился в волшебное, таинственное место. Луна высвечивала серебром только для нас двоих темные очертания деревьев и кустов.

Мы шли молча, и наши руки часто соприкасались. Когда он поцеловал меня, говоря «спокойной ночи», я поразилась тому, как мне приятно так близко чувствовать тепло другого человека и как мое тело отзывается на эту близость.

Эйб оставался у нас пять дней, и мы прекрасно проводили время. Я чувствовала себя такой свободной, у меня было такое острое ощущение жизни! Мы совершали долгие походы по горам, где находили красивейшие пещеры и водопады. Некоторые горы были довольно высокими, но мы лезли наверх и радовались, когда достигали вершины после очень крутого и опасного подъема. Иногда мы ходили весь день и возвращались домой только к ужину.

Естественно, наши вечерние прогулки заканчивались объятиями и поцелуями, его тело страстно желало большего, и мое — все больше и больше желало того же. Дело кончилось тем, что я провела ночь в его палатке.

На следующее утро я проснулась с ощущением легкости и счастья. Мне 22 года и я женщина! Какое облегчение — избавиться от постоянного давления со стороны мужчин и необходимости говорить «нет», когда иногда хочется сказать «да».

Моя сестра была огорчена, что потеряла во мне товарища, пока Эйб гостил здесь, но она понимала, что происходит, и мирилась с ситуацией. Мама, однако, не хотела мириться — она была недовольна и расстроена и с нетерпением ждала отъезда Эйба. Она боялась, что я выйду замуж за «неподходящего», с ее точки зрения, человека.

А Эйб обрел надежду и завел разговор о женитьбе. Я отказала. Наконец он уехал. Я была согласна с мамой: Эйб не соответствовал моему представлению о будущем муже. Но я все равно спорила.

«Знаешь, — говорила мама, — он не очень-то образован». Я защищала Эйба: «Но, мама, он так много читал!» На это у мамы было свое мнение: «Дорогая, тебе так кажется, потому что он читал другие книги, английских и американских авторов». Тут она была права. «Сейчас, — продолжала она, — не так много вокруг нас интересных юношей, а ты молода и неопытна.

Помнишь поговорку — на безрыбье и рак рыба? Когда нет рыбы, радуешься и раку. Но если ты принимаешь рака за рыбу, ты скоро видишь разницу и жалеешь, что согласилась на не самое лучшее. Поверь мне, это пройдет».

Мамины слова на меня подействовали, поговорка о рыбе и раке, как это ни нелепо, звучала убедительно.

После отъезда Эйба мы вернулись к ежедневному распорядку — ходьба по горам, посещения китайских храмов и деревень в долине. Вечером мы много читали и рассказывали всякие истории. Сестра сидела с альбомом для рисования — она была очень одарена художественно, — рисовала и слушала с открытым ртом мамины рассказы. Ни телефона, ни почты там не было. Я не получала ничего от Эйба, и, под постоянным давлением мамы, поговорка «рак на безрыбье» все глубже врезалась в мое сознание.

Мы были отрезаны от всего мира. Единственным источником информации был наш повар, ежедневно ездивший на велосипеде в деревню за продуктами. Он сообщил нам, что люди говорят о том, что японская армия приближается к северным границам Китая, готовясь объявить войну правительству Чан Кайши. Из-за этих слухов, качал он головой, цены на овощи и мясо растут. Крестьяне прячут свой урожай, рассказывал он нам, потому что в случае войны деньги обесценятся, а благодаря запасам они хотя бы не будут голодать.

Мама сказала, что все это уже знает, но мы почему-то не принимали этих разговоров всерьез. Мы ведь жили в британском квартале, и наверняка британцы нас защитят. Это не может быть похожим на войну в Харбине, когда завоевателей встретила только беспомощная община русских эмигрантов. Великие европейские державы не позволят случиться ничему подобному.

Мама говорила, что впервые после революции мы можем чувствовать себя в безопасности и не волноваться о будущем. Я надеялась, что она права. Повар тоже не беспокоился. Ему казалось, что если он работает на иностранцев, то и ему японское вторжение ничем не грозит, если оно когда-нибудь вообще произойдет.

Наша беззаботная жизнь в горах подошла к концу. Лето кончилось. Мы возвращались в Тяньцзинь с некоторой опаской, но никаких перемен там не нашли. Если и существовала опасность японского вторжения, то это никак не отражалось на обычной жизни города. На улицах было так же много народа и так же шумно, магазины и уличные рынки были полны продуктов и товаров, дети ходили в школу, а иностранцы готовились к новому светскому сезону.

Как только мы подъехали, я увидела на нашем пороге Эйба.

«Дорогая, — заявил он, — я по тебе очень скучал». Он заключил меня в объятия. Я почувствовала, что мое предательское тело с радостной готовностью сливается с ним. Спасло меня появление в прихожей мамы. «Елена, — сказала она вежливо, но твердо, — пожалуйста, проводи твоего гостя в гостиную. Мы собираемся обедать. Эйб остается на обед? Но ведь ты еще не распаковала вещи. Может, Эйб зайдет попозже?»

«Привет, миссис Зи! — весело сказал Эйб. — Хорошо отдохнули? Я с удовольствием останусь обедать».

«Теперь твоя очередь действовать», — ясно читалось в мамином взгляде. От меня ожидалось, что я поступлю правильно и отошлю Эйба. Эйб же был глух к таким нюансам и вообще к сложностям отношений матери и дочери.

«Мама права, — сказала я, — я должна разложить вещи, сделать несколько звонков... Ты не возражаешь? Позвони мне сегодня вечером».

«Конечно, как хочешь, дорогая, — покорно и грустно ответил Эйб. — Позвоню тебе после ужина? Около восьми?»

Маму это устроило, хотя она предпочла бы, чтобы Эйб вообще не звонил. Она продолжала стоять в прихожей, не позволив, таким образом, Эйбу еще раз меня обнять. Он чмокнул меня в щеку и неохотно ушел. Не говоря ни слова, мама прошла в гостиную. Я поднялась на свой третий этаж.

На вечерний звонок ответила мама. Она объяснила Эйбу, что я очень устала и рано легла спать. Я знала, что долго так продолжаться не может; Эйб тоже пытался найти выход из создавшейся ситуации. Когда мы с ним встретились, он оборвал мои пространные рассуждения о наших отношениях. И не предложил мне выходить за него. Он просто пригласил меня на танцевальный вечер, который устраивала его контора на следующей неделе. Я приняла приглашение с облегчением, не зная о его планах постепенно заманить меня в ловушку. На вечере меня приветствовали как «новую подружку » Эйба, его друзья меня одобрили, и мы очень веселились.

Я опять начала преподавать, в драматическом обществе мы готовили рождественское представление. Эйб почти постоянно был где-то рядом: помогал придумывать и делать декорации, заходил на репетиции и провожал меня домой, водил в кино, целовал на прощание вечером около дома, но на меня не давил. Я начала расслабляться, все было хорошо, все были довольны, и я могла плыть по течению, не принимая никаких важных решений.

Наступили праздники — американское Рождество, Новый год, русское Рождество, русский старый Новый год, китайский Новый год... бесконечные танцы, приемы и вечеринки. Почти на

все я ходила с Эйбом. Нам было так хорошо! Танец переносил нас обоих в другой мир, мы сливались в одно тело, мы принадлежали друг другу. Я все больше чувствовала, что теряю контроль над ситуацией. Моя плоть, казалось, четко понимала, что ей нужно. Она не намерена была отказываться от своего и подчиняться разуму. Я вспомнила Виктора: почему я не могу держать свои чувства под контролем, как это мог он? Может быть, для этого надо быть членом коммунистической партии?

Я пыталась бороться с собой. Мой дневник тех дней полон строгих лекций самой себе о «безнравственном» поведении, решений измениться. Но все было напрасно. «Бедный ребенок, — думаю я сейчас, перечитывая эти страницы, — бедный запутавшийся ребенок интеллектуальной матери, которая обсуждала все возможные философские проблемы, но никогда не поднимала вопрос о сексе!»

Когда наступил китайский Новый год, мы пошли на большой прием в конторе Эйба. Оркестр играл все наши любимые мелодии. Я перестала уже волноваться о том, что моя мама думает об Эйбе и кто он сам — рак или рыба. В этот вечер он опять сделал мне предложение. И я его приняла.

Мы сообщили новость своим семьям и натолкнулись на оппозицию с обеих сторон. Семьи жили в двух разных мирах, и им не очень-то хотелось налаживать связи друг с другом. Мама была поражена. Ее обманули мои разумные рассуждения об Эйбе и замужестве, она не подозревала, что мое тело жило независимой от разума жизнью. Она немедленно предложила купить мне билет до Шанхая, чтобы я навестила свою подругу Анну и провела с ней какое-то время. Мне было больно смотреть, как переживает мама. Если бы она купила мне этот билет месяцем раньше, я, наверное, уехала бы в Шанхай. Но теперь я не могла этого сделать. В конце концов была же у меня гордость! Отец отнесся ко всему философски: «Эйб выглядит сильным, здоровым парнем. И он Британский волонтер[14], человек, готовый защищать свой дом. Я не возражаю против этого брака».

Мои ученики, однако, чрезвычайно огорчились. Для них я была совершенно особенным, необыкновенным созданием, и уже если мне выходить замуж, то только за принца, прискакавшего на белом коне из далекой страны, чтобы увезти меня с собой, а не за какого-то младшего брата их учительницы английского! И Эдит больше не пила со мной кофе и не разговаривала.

Русские друзья моих родителей были шокированы. Это не было хорошей партией: молодой человек без всякого положения в обществе, без денег и особых видов на будущее. Такой поступок не вязался с общественным положением уважаемой русской

семьи. Мои родители должны были проследить, чтобы я нашла себе более подходящего жениха!

Семейство Эйба тоже впало в отчаяние. Это была американо-русско-еврейская семья из Нью-Йорка с глубокими корнями на Востоке. Отец Эйба, Соломон, торговал пушниной. В начале века он управлял крупным семейным предприятием, организованным на дальневосточных границах России, в Маньчжурии и Монголии. Семья принадлежала к новому, быстро набиравшему силу классу русских купцов и предпринимателей, открывающих новые рынки и делавших себе порядочные состояния.

Какое-то время Соломон Биховски возглавлял отделение предприятия в Угре (Монголия), теперь это Улан-Батор. Он привез туда из России свою жену и дочь Эдит, там родился Эйб. Это их монгольское предприятие в конце концов было разрушено большевиками, но к тому времени Соломон уже переехал в Нью-Йорк. Там он вел свое дело до 1926 года, а потом переехал в Тяньцзинь с женой и младшим сыном Мартином. Эдит и Эйб остались с родственниками в Бруклине. Семья соединилась в 1930 году, когда Соломон утвердился в должности управляющего китайской ветвью одной американской компании.

С их точки зрения и с точки зрения их друзей, женитьба Эйба была катастрофой. Он был старшим сыном, только начинавшим свою карьеру, и семья рассчитывала на его финансовый вклад в семейный бюджет. Было чистым безумием жениться на нищей русской эмигрантке, когда вокруг было столько подходящих еврейских девушек из зажиточных семей.

И вот, к нашему немалому удивлению, Эйб и я оказались в центре семейной драмы почти шекспировского размаха. Моя сестра, внимательно за всем наблюдавшая, очень за нас переживала. «Да, — говорила она мечтательно, — это совсем как Ромео и Джульетта. Только вот Эйб уж слишком веселый и жизнерадостный. Он должен быть более грустным и романтичным. И никто из вас не понимает всей трагичности ситуации! Вы вообще не страдаете!»

Нина была права: мы как-то не принимали все это всерьез. Просто старались поменьше попадаться на глаза нашим семьям и избегали разговоров, которые неизменно начинались мольбой: «Будьте благоразумны, не объявляйте пока о своей помолвке!» — и заканчивались упреками: «Вас совсем не волнует, какую боль вы причиняете людям, которые вас любят? Вы губите свои жизни! Вы еще пожалеете, но будет поздно!»

Мы же стояли на своем и говорили, что не хотим никакой свадьбы, а просто хотим вместе жить. Но на нас распространялись нормы поведения тогдашнего общества. Наша помолвка должна

быть объявлена. Должна быть свадьба.

Наконец две несчастные матери встретились, состоялся обмен семейными ужинами, меня представили тетям и дядям. Самые черные дни драмы остались позади. Теперь всеобщее внимание обратилось на то, как организовать свадебную церемонию.

Свадьбу назначили на 21 марта. Из-за того что мы принадлежали к разным религиям, о православном венчании не могло быть и речи. Однако американский пастор согласился поженить нас в армейской часовне, а прием решили устроить в одном из клубов. Итак, мы поженимся «как положено», в списке гостей — двести пятьдесят человек, будет много подарков и недельный медовый «месяц» в «Гранд-Отеле» в Пекине.

Мама, по-прежнему противница этого брака, была несчастна все то время, пока мы занимались разными приготовлениями. За неделю до свадьбы она опять предложила мне билет до Шанхая. Я должна взять его, говорила она, если хоть немножко сомневаюсь. Мне было очень больно, что она так к этому относится, но билет я не взяла.

Я, как ни странно, чувствовала себя отрешенной ото всех этих спешных приготовлений. Мама и сестра выбирали мне приданое. Мне понравилось мое свадебное платье, когда его выбрали, но я бы согласилась на любое, предложенное мамой. Нисколько не задумывалась я и о том, как мы с Эйбом обставим снятую нами двухкомнатную квартиру.

Я была счастлива и спокойна: я сделала правильный выбор. Он был хорошим человеком, и я его любила. Планировалось, что в августе он получит отпуск для поездки домой **и** мы поедем на месяц в Нью-Йорк. Передо мной открывалась новая, интересная жизнь.

На очень скромной церемонии в часовне присутствовали только наши отцы и моя сестра, но послеобеденный прием превзошел все ожидания. Клуб выглядел как декорации к фильму — великолепный бальный зал, украшенный цветами, праздничная толпа, невеста в пышном белом платье, матери в сером и сиреневом, сестра Эйба в черном бархате (она не хотела покупать новое платье для этого случая, так как ей нечего было праздновать) и моя сестра в кокетливом наряде. Нина твердо решила веселиться. Все-таки это была свадьба ее сестры и здесь было столько симпатичных молодых людей! Официанты ставили на столы невероятный ассортимент блюд. Свадебный торт являл собой настоящее произведение искусства, шампанское лилось рекой, оркестр играл и играл...

Я сначала танцевала с моим отцом, а Эйб торжественно и

почтительно вальсировал с моей матерью. После этого танцевальную площадку заняла молодежь, и все очень веселились. Мы разрезали торт и вскоре после этого выскользнули в заднюю дверь, чтобы переодеться и успеть на восьмичасовой поезд на Пекин. Мы ни разу не задумались о тех, кого мы оставляем...

Неделя в «Гранд-Отеле» с американским мужем сразу превратила меня в настоящую «жительницу колоний». Это было очень приятно: завтрак в постели, низко кланяющиеся слуги-китайцы, чаепитие и танцы во второй половине дня, переодевание к ужину. Первый раз в жизни я была хорошо и модно одета. Когда мы выходили из дверей отеля, нас предупредительно провожали до уже ожидавшего рикши, который вез нас по узким улицам на очередную экскурсию по городу. Мы поднимались по мраморным ступеням «Небесного храма», не пропускали ни одного исторического памятника и бесконечно все фотографировали. Увиденный в этот раз Пекин казался мне другим городом, отличным от того, который я посетила год назад, но и я уже не была той русской эмигрантской девочкой, которая плакала в императорском летнем дворце, слушая, как актриса-эмигрантка читает стихи. Одна глава моей жизни закончилась, началась другая.

В эту первую неделю замужней жизни я с удивлением поняла, как много энергии и времени нужно было теперь отдавать другому человеку, моему мужу. Мы погрузились в процесс узнавания друг друга. Каждый день приносил новые открытия общего или различного в наших характерах. Мы исповедовались друг другу в прошлых проступках, которые тут же прощали друг другу в теплых объятиях. Мы приближались к тому уровню близости, когда супруги связаны особыми узами, живя в особом мире, отдельном от всех остальных.

Мы также строили планы на будущее, особенно нас занимало предстоящее осенью путешествие в Нью-Йорк. Блаженная слепота застилала наш взгляд на мир. Планируя свое будущее, мы совершенно упустили из виду и не учли мировые кризисы, войны и революции. Вероятность того, что по нашем возвращении в Тяньцзинь из Америки работа Эйба в Британско-Американской табачной компании (точнее, сама эта компания) может уже не существовать, никогда не приходила нам в голову. Мы не сомневались, что съездим в Нью-Йорк и вернемся к нашей приятной жизни в колониальном уюте и безопасности.

Мы вернулись в Тяньцзинь счастливые и веселые, уже настоящая супружеская пара. На подшучивание коллег по работе Эйб отвечал счастливой улыбкой. Я была тепло встречена моими

учениками. Мама и ее друзья, видя, какой счастливой и здоровой я выглядела, пожимали плечами и говорили: «Ну, никогда не знаешь! Похоже, все не так уж плохо... по крайней мере, пока...»

Наша двухкомнатная квартира была частью большого односемейного дома в бывшем русском квартале. Величественный дом, в прошлом резиденция бывшего царского чиновника, в котором мы оказались единственными жильцами. Квартира была в прекрасном состоянии: мама и Нина об этом позаботились. На обеденном столе и в спальне стояли свежие цветы, в буфете горкой были сложены тарелки, столовое серебро разложено подобающим образом, за стеклом второго буфета сверкали стаканы, рюмки, бокалы и чайный сервиз на серебряном подносе. В другом углу стоял диван, и на нем лежала гора не раскрытых нами свадебных подарков. Как много красивых, бесполезных вещей! Нам подарили одиннадцать хрустальных графинов для вина, несколько вышитых льняных скатертей для банкетного стола, несколько сервизов для завтрака, гобелены, вазы, серебряные солонки и перечницы и разные предметы из слоновой кости — все обязательные украшения колониального семейного быта.

Нашим слугам было с нами легко. Молодая, очень приличная супружеская пара, часто принимавшая приглашения на разные мероприятия и редко ужинавшая дома! Иногда по вечерам Эйб шел на собрания Британских волонтеров, а я часто ходила на обеды и чаепития к подругам. В апреле мы праздновали еврейскую Пасху с семьей Эйба, а русскую Пасху — с моими. *Я* также устроила у себя «дамский чай». Конечно, мама пришла заранее, чтобы все проверить до прихода гостей. Все прошло отлично. *Я* выдержала экзамен. Мой брак, видимо, не был уж такой социальной катастрофой!

Скоро мы решили, что будем делать летом. Мы с Эйбом сняли на шесть недель ту же хижину в Западных холмах, которую моя семья снимала предыдущим летом. Эйб договорился об отпуске в конце июня. Мы заперли свою квартиру и в сопровождении повара и слуги перебрались в этот чудесный монастырь Спящего Будды. В последнюю минуту Эдит, сестра Эйба, тоже решила поехать с нами (несмотря на свои прежние чувства по поводу нашего брака), ее муж и моя мама и Нина должны были приехать к нам позже.

Западные холмы были так красивы ранним летом! Мы лазили по горам, устраивали пикники около нашего пруда, а по вечерам сидели у костра в нашем дворе и пели популярные песни Гилберта и Салливана. Эйб был большим поклонником этих композиторов и знал наизусть почти все их мюзиклы.

Но не прошло и недели, как муж Эдит, журналист из агентства ЮПАИ, прислал к нам посыльного со срочным предупреждением: собирайтесь и немедленно уезжайте! Япония начинает войну с Китаем. Нам грозила опасность быть отрезанными от Пекина. Эдит уехала, но Эйб не собирался жертвовать двухнедельным отпуском. Я с ним согласилась: война между Японией и Китаем не имела к нам никакого отношения...

День или два спустя мы услышали вдалеке перестрелку. Повар поехал на велосипеде в деревню и привез тревожные новости: идут бои на дороге в Пекин, крестьяне прячутся в горах. Автобусы и такси в Пекин не едут. Из-за инцидента на мосту Марко Поло, как раз на дороге между нами и Пекином, официально началась война между Японией и Китаем. Мы были отрезаны!

«Наверно, твоя сестра была права, — упрекнула я Эйба. — Нам нужно было уехать».

«Нам ничего не грозит, — заявил мой самоуверенный муж. — Мы не имеем никакого отношения к этой проклятой войне, мы отдыхаем!»

Нашего повара, однако, не так-то легко было успокоить. Он сел на велосипед и снова отправился в деревню за новостями. Вернувшись, он сообщил нам, что всем иностранным гражданам приказано связаться со своими посольствами. Он разговаривал с поваром семьи датских миссионеров: они собираются покинуть Западные холмы немедленно. Он посоветовал нам собрать вещи и приготовиться к отъезду и велел слуге укладывать посуду, кастрюли и сковородки.

Эйб позаимствовал у повара велосипед и поехал искать датчан. *Я* грустно начала собирать вещи. Вот опять, думала я, «история» нагнала меня. То, что я уже не была не имеющей гражданства эмигранткой, ничего не меняло: даже американский муж не мог защитить меня от войн и революций.

Эйб вернулся и сказал, что у датчан большой грузовик и они могут взять нас с собой в Пекин, если мы будем готовы к завтрашнему утру. В этот вечер мы долго бродили, прощаясь со всеми нашими любимыми местами. Самым грустным было прощание с храмом Пятисот Будд. Там никого не было. Идя по длинным темным коридорам, мы заметили, что глаза статуй закрыты кусочками бумаги — трогательная попытка бежавших сторожей защитить Будд от зрелища позора японской оккупации.

Мы были готовы к отъезду, когда большой открытый грузовик датчан остановился у ворот внешнего монастырского двора. Несколько детей, коза, сам миссионер и его жена сидели на груде чемоданов. На грузовике гордо развевался датский флаг. Мы

залезли в кузов и устроились на своих вещах.

На трассе нас постоянно останавливали, сначала китайские, потом японские солдаты. Некоторые смотрели с подозрением на датский флаг, не узнавая его. По совету нашего повара, мы сняли американский флаг с его велосипеда и водрузили рядом с датским. Это помогло. Два государства были важнее одного, а американский флаг узнавали все. Наш грузовик благополучно доехал до Пекина.

Датчане высадили нас у железнодорожной станции. Эйб позвонил в американское посольство, сообщил, что мы в безопасности и возвращаемся в Тяньцзинь. Позвонил он и нашим семьям, очень обрадовавшимся известию от нас. Мы вернулись в тревожный и предчувствующий недоброе

Тяньцзинь. Спокойствие колониальной жизни было уже нарушено, но жители еще не понимали, какими опасностями чреваты происходящие события. По городу ходили разные слухи. Британские волонтеры были в боевой готовности и выпустили инструкцию, как вести себя «в крайнем случае». Несколько иностранных фирм паковали имущество, собираясь покинуть город. Наша эйфория и «блаженная слепота» были оборваны резко и жестоко.

Русская эмигрантская община впала в отчаяние. Живя в Китае среди других иностранцев, мы были на равном с ними положении, но они могли вернуться из Китая в свои страны, а нам ехать было некуда, у нас не было «родины». Мы оказывались в безвыходном положении. Люди старались не поддаваться панике, но у дверей иностранных консульств выстраивались длинные очереди.

Мало кто верил в армию Чан Кайши. Те же, кто был свидетелем японского завоевания Маньчжурии, знали, что китайские солдаты не смогут противостоять японцам. Мой отец не падал духом, но мама не могла скрыть своего горького разочарования в том, что колониальная мощь так легко рушится. Британская империя, похоже, не собиралась защищать даже своих собственных граждан, ограничиваясь принятием первых необходимых мер, и было ясно, что она не будет открыто поддерживать Китай в войне с Японией.

Через несколько недель японская армия заняла наш город. Поначалу колониальные территориальные права уважались и все жители колоний, независимо от их национальности, находились под защитой колониальных властей. Как и в Харбине, русские эмигранты опять попали под власть японского Бюро по делам русских эмигрантов. В нем верховодили ультраправые представители русской общины — российские фашисты. Бюро

было уполномочено выдавать вид на жительство и должно было сообщать о «нежелательном поведении» любого человека.

Однажды Эйб пришел домой и сказал, что фабрики Британско-Американской табачной компании закрываются, а все иностранные граждане, там работавшие, немедленно отправляются домой.

«Что же будет со мной?» — испугалась я. «Скоро узнаем, — ответил мой муж. — Думаю, что ты имеешь право на защиту со стороны Америки как моя жена».

К нашему отчаянию, он оказался не прав. Он мог взять меня с собой, но только как обычную иммигрантку. То, что я являлась его женой, не делало меня американкой, и, по иммиграционным правилам, он должен был внести две тысячи долларов как доказательство того, что я не стану обузой для американских налогоплательщиков, или же уехать и прислать за мной, как только докажет, что у него есть хорошо оплачиваемая работа в США. У нас не было двух тысяч долларов, и собрать такую сумму мы не могли. Семья Эйба эвакуировалась в Америку, и им были нужны деньги для себя. Моя семья тоже не могла нам помочь. Это был страшный удар.

Начались срочные приготовления к отъезду Эйба и его семьи. Казалось, что весь город уезжает. Продать мебель из нашей квартирки было теперь невозможно, поэтому мы отдали часть нашему повару, а остальное перевезли в дом моих родителей, на третий этаж, куда опять переехала и я.

Когда Британско-Американская табачная компания закрылась, Эйб должен быть отдавать все свое время семье. Он выполнял бесконечные поручения своей матери и сестры, делал покупки и паковал, паковал, паковал... Гора ящиков, сундуков, чемоданов росла с каждым днем. В день отъезда мы не могли говорить, слов не было. Я затерялась в толпе родственников и друзей, пришедших на вокзал. Последний отчаянный поцелуй — и мой муж уехал. Я вернулась домой подавленная, опустошенная, опять беззащитная эмигрантка, бездомная брошенная беженка.

Я скучала по мужу. Я привыкла к тому, что меня любят, привыкла делить с ним мою жизнь. Мне нужно было на кого-нибудь опереться, и тут мама поддержала меня своей любовью и нежностью, ни разу не напомнив о своих первоначальных возражениях против моего брака. Хотя, наверно, она думала: «Хороший муж не оставил бы жену в такое время!»

Наступил сентябрь, я снова начала преподавать в школе. Теперь это была очень маленькая школа — многие семьи уехали. Но жизнь продолжалась и, казалось, входила в обычную колею. Семья наша старалась не покидать пределов британских или

французских кварталов.

В Нью-Йорке бедный Эйб метался в поисках работы, достаточно хорошо оплачиваемой для того, чтобы можно было привезти меня в Америку. В 1937 году США только оправлялись от Великой депрессии, безработица еще была очень высокой, и бывшему жителю колоний трудно было рассчитывать на приличное место. Он ходил по всем объявлениям, обошел всех друзей и знакомых, старался не упустить ни одну возможность. Какое-то время он даже продавал пылесосы.

Удача в конце концов ему улыбнулась, и в апреле 1938 года он нашел работу с жалованьем, позволявшим удовлетворить требования иммиграционных властей. Он должен был ехать в Вашингтон, чтобы получить для меня специальную въездную визу. Любовь восторжествовала!

Меня вызвали к удивленному чиновнику американского консульства. «Вам очень повезло, — сказал он. — У вашего мужа, наверно, хорошие связи в Вашингтоне. Мы нечасто сталкиваемся с такими случаями. Большинство ждет годами. Поздравляю! Вот ваши документы».

Следующие недели были заняты приготовлениями к моему отъезду. Покупки, укладка чемоданов, последние наставления мамы, прощальные визиты к друзьям... Вдруг я поняла, что могу никогда их больше не увидеть. Я почувствовала страшную тревогу за свою семью. Никто не знал, как долго еще пробудут британцы в Тяньцзине. Куда двинутся мои родители и сестра? Я надеялась, попав в Америку, сделать что-нибудь для того, чтобы они тоже смогли туда приехать. И вот наконец, испуганная, с тяжелым сердцем, я была готова к отъезду.

Где-то мне не хотелось уезжать, я бы с удовольствием отложила отъезд! Но, проявив свою самоотверженную любовь, мама буквально вытолкнула меня из дома. У меня были билеты на поезд до парохода, отплывавшего в Японию, там я должна была пересесть на канадский пароход, направлявшийся в Ванкувер, откуда поездом собиралась добираться до Нью-Йорка.

Проводить меня на вокзал пришла целая толпа друзей, учеников и друзей Эйба. Сцена напоминала наш отъезд из Москвы. Слезы, слезы, крепкие долгие объятья, протянутые руки с подарками, цветами, конфетами, несвязные разговоры и постоянная мысль: «Не расстаемся ли мы навсегда? Увидимся ли когда-нибудь?» Я совсем уже не могла держать себя в руках — плакала, цеплялась за маму, обнимала плачущую сестру, почти никого другого не замечая.

Кто-то внес **в** купе мой багаж, и в последний момент чьи-то сильные руки подняли меня с платформы и сунули в поезд. До

сего дня я ненавижу железнодорожные станции, и мои частые ночные кошмары всегда связаны с отъездом поезда.

* * *

О путешествии на пароходе через Тихий океан у меня остались лишь смутные воспоминания. Я много спала, не проявляла никакого интереса к другим пассажирам и страдала морской болезнью с первого до последнего дня двухнедельного путешествия. Я это стойко выдержала и, вероятно, умудрилась так хорошо скрыть свое состояние, что в конце пути капитан отметил меня среди лучших путешественников. Просто смешно! Я была самым несчастным существом на борту, одиноким и испуганным.

В одной каюте со мной ехала русская дама, недавно овдовевшая, вся в черном. Она направлялась в Сиэтл к сеетре. Мы походили друг на друга — обе мрачные и чуждавшиеся общества. Через какое-то время между нами протянулась ниточка симпатии и сочувствия. Мы жалели не только сами себя, но и друг друга. Лежа на двухъярусной кровати в нашей каюте, она рассказала мне о своей жизни.

Ей было всего шестнадцать лет, когда нищие родители уговорили ее выйти замуж за человека намного старше ее, который мог спасти семью от безденежья. Она согласилась.

«Это все было как в романе XIX века, — рассказывала она, — когда героиня выходит замуж за старика, которого она не любит, чтобы спасти свою семью. Я не была несчастлива. Он был добрым человеком, и я жила в Шанхае рядом со своей семьей. Но когда моя старшая сестра вышла замуж за американца и уехала с ним в Америку, мои родители решили вернуться в СССР. Я осталась с мужем. А теперь его не стало, и я совсем одна!» Она расплакалась.

Заплакала и я. Нам обеим предстояло неизвестное будущее в неизвестном мире.

На нашем пароходе, только в первом классе, ехала американская девушка примерно моего возраста, очень почему-то мною заинтересовавшаяся. Рут Парке, так ее звали, возвращалась домой в Оклахому из кругосветного путешествия. Она сообщила мне, что ее родители «занимаются нефтью», факт, который не произвел на меня никакого впечатления. Она очень гордилась, что путешествует одна, и не очень-то радовалась возвращению домой. Чего бы я :только не отдала, чтобы быть на ее месте! Как бы я хотела «возвращаться домой»!

Рут Парке не знала, что обо мне и думать: русская девушка, говорящая по-английски с колониальным британским акцентом, хорошо одетая и следящая за собой, держится особняком и не

интересуется ничем происходящим на пароходе! Она решила, что я, наверно, русская княгиня, Путешествующая инкогнито, и что обо мне надо обязательно узнать побольше.

Я рассеянно слушала ее рассказы, оставаясь молчаливой и замкнутой. Гораздо живее я реагировала на дрессированную обезьянку, которую она везла домой в подарок младшему брату. Я сразу почувствовала родство с этой обезьянкой — мы обе были пленниками, беспомощными в новой обстановке.

Когда мы приплыли в Ванкувер, Рут пришла в голову идея купить машину. Она предложила мне поехать с ней в Чикаго, осматривая по дороге всякие достопримечательности, а уже из Чикаго я могла бы сесть на поезд до Нью-Йорка. «Будет так здорово!»

Я позвонила мужу. Эйб был ужасно возмущен одной мыслью об отсрочке моего приезда и обеспокоен тем, что какая-то сумасшедшая американка пытается похитить его жену. Его уверенный голос успокоил меня, и я очень обрадовалась, что он решительно не позволял мне ехать в Чикаго. Рут меня поняла. «Наверно, придется все-таки вернуться домой, — вздохнула она. — Мы обе сядем на поезд. А пока не поедешь ли со мной в Сиэтл за покупками? У нас целый день, а мне совершенно нечего надеть!»

Я согласилась и попрощалась со своей соседкой по каюте, которую в Сиэтле ждала сестра. Меня потрясло первое посещение большого американского универмага, я удивлялась всему — от эскалатора до невероятного разнообразия фасонов, цветов, качества и размеров одежды и количества всевозможных товаров. Рут выбрала блузку за восемнадцать долларов и спросила меня, не слишком ли это дорого. Я удивилась: «Но это очень дешево! Я обычно платила за блузку в два раза дороже».

Теперь наступила ее очередь удивляться: «Правда? Наверное, ты права. Меня слишком долго здесь не было. Я ее покупаю!»

На самом деле я думала о ценах в китайских деньгах и не понимала, что восемнадцать американских долларов, вероятно, в десять раз превышают то, что платила я в Китае.

Рут купила еще несколько вещей, слушая мои замечания о том, как в Америке все дешево. Она была абсолютно уверена, что я очень богатая и важная персона, путешествующая инкогнито в туристическом классе под вымышленным именем.

В поезде, идущем на восток, я читала и играла с ее обезьянкой. В Чикаго, где Рут выходила, я должна была пересесть на поезд до Нью-Йорка, но поезд уходил только вечером, и я с радостью согласилась на предложение Рут отдохнуть в ее гостиничном номере и выпить с ней и ее друзьями по коктейлю.

Она побежала в парикмахерскую, а я осталась в номере, и мы с обезьянкой расположились на ее огромной кровати. На тумбочке лежала брошюра, из нее я узнала, что в Чикаго находится знаменитая картинная галерея. Я решила туда пойти. Очень импозантный швейцар указал мне дорогу: галерея была всего в квартале или двух от гостиницы, и я ее легко нашла.

В первом же зале я потеряла чувство времени и места. Я впервые видела французских импрессионистов в оригинале! Перед каждой картиной я замирала в ошеломлении. Какие великолепные краски, совсем не такие, как на альбомных репродукциях, которые я рассматривала дома! Я бродила из зала в зал, открывая для себя все новые сокровища. И вдруг оказалось, что музей уже закрывается, и я оказалась на улице.

У меня безумно болела голова, я не понимала, где я нахожусь. На улицах было темно, мимо меня проходили толпы людей. Я попробовала повернуть налево, потом направо. Все вокруг было незнакомым. Я потерялась и даже не могла спросить дорогу, потому что не помнила названия гостиницы! Меня охватила паника, и я почувствовала приступ тошноты. Я испугалась, что мне станет плохо прямо здесь, перед какой-нибудь модной витриной. Я прислонилась к стене и закрыла глаза. Наконец передо мной остановились какие-то сердобольные люди: «Вам плохо? Вам помочь? »

Конечно, мне было плохо! Я описала шикарный гостиничный холл, и они решили, что это может быть недалеко отсюда расположенный «Пальмер-Отель», «лучший в Чикаго». Потерявшуюся иностранку бережно довели до нужной улицы и передали с рук на руки услужливому швейцару. Он довел меня до конторки, но здесь возникла новая проблема: у меня не было ключа от комнаты, и я не помнила ее номер. Комната была зарегистрирована только на одно имя — на имя Рут Парке. «Рут Парке сейчас нет в номере», — сказал управляющий и стал меня расспрашивать. Как я оказалась одна, без Рут? Где я была все это время? Рассказ о моем потрясении от картин в музее звучал неубедительно, но мой аристократический британский акцент, билет на поезд в моей сумочке и, главное, упоминание об обезьянке мисс Парке убедили их, и они разрешили мне войти в комнату и забрать чемоданы, но только в их присутствии.

Мы вошли в комнату. Она выглядела так, как будто по ней пронесся ураган. Бедная обезьянка висела на одной из оконных занавесок. По полу были раскиданы столики, стулья, лампы, мусорные корзины и пепельницы. Я сняла дрожащего зверька и крепко прижала к себе — наконец-то нашелся кто-то, напуганный так же, как и я!

Сердитый управляющий составлял описание ущерба, нанесенного обезьянкой, чтобы предъявить его мисс Парке по ее возвращении, а я уложила обезьянку под одеяло на большой кровати, написала благодарственную записку Рут и взяла свои чемоданы. Я поблагодарила управляющего и выразила ему свое сочувствие по поводу учиненного разгрома, и он проводил меня вниз до дверей, бормоча под нос что-то насчет избалованной богатой молодежи, которую бы следовало держать дома под замком.

Вылезая из такси около вокзала, я еле двигалась от усталости. К счастью, кто-то указал мне нужный вагон. Когда я собиралась с силами, чтобы подняться в него, на верхней ступеньке возникло большое черное лицо. «Ну, барышня, — сказало лицо, скаля блестящие белые зубы, — давайте я вам помогу!» Это был проводник.

Он протянул мне руку, взял мои чемоданы и довел меня до купе. Там он повесил мое пальто на вешалку, взглянул на мои растрепанные волосы и спросил: «А где ваша шляпа?»— «Наверно, забыла в гостинице», — ответила я. «Подумать только! — он неодобрительно хмыкнул. — Едет в Нью-Йорк без шляпы!»

В 1930-х годах шляпа была неотъемлемой частью туалета настоящей дамы. К счастью, на мне были белые перчатки, и на них он взглянул одобрительно. Все-таки я могла сойти за леди! Я рухнула на сиденье, а как только поезд тронулся, проводник вошел и приготовил постель. «Спите спокойно, — сказал он мне. — Я разбужу вас утром».

Я была ˆжасно рада очутиться наконец-то в поезде, везущем меня к мужу, и не удержалась, чтобы хорошенько не выплакаться в моем маленьком купе.

Проводник все еще беспокоился об отсутствии у меня шляпы, когда на следующее утро мы прибыли в Нью-Йорк. Однако, увидев высокого молодого человека, бегущего по платформе мне навстречу, он широко улыбнулся и сказал: «Наверно, шляпа теперь и не важна!»

Какое облегчение оказаться опять в сильных руках, принимать поцелуи и уверения в том, что теперь путешествие закончилось, что я «храбрая девочка» и что с этого момента обо мне будут заботиться. Может быть, и правда я приехала «домой»!

ГЛАВА 7 Нью-Йорк

18 мая 1938

Дорогие мои!

Это мое первое письмо к вам из Нью-Йорка — моего нового дома! Эйб встретил меня на вокзале, и как же я ему обрадовалась! Объятия и поцелуи и даже немного слез, и мы поехали в Бруклин, где живет семья Эйба. Нас там ждали на торжественный ужин по поводу моего прибытия в Штаты, представление «нового» родственника американской ветви семейства Биховски.

Семейное сборище было шумным и сердечным; американские кузены и кузины, дяди и тети очень похожи на посетителей Еврейского клуба в Тяньцзине, только говорят на другом языке. Некоторые из старшего поколения помнят немного русский, но их дети говорят только по-английски. Ко мне они отнеслись покровительственно и по-родственному, надавали полезных советов на все возможные случаи моей будущей жизни, хотя, должна признаться, я была не в состоянии что-либо запомнить. Я не могла сказать, кто есть кто, и воспринимала их всех как большую группу дружелюбных существ.

Мы провели ночь на диване в гостиной Биховски, поскольку было слишком поздно ехать к нам домой — в снятую Эйбом комнату в Манхэттен-Бич, кажется, довольно далеко отсюда. Рано утром Эйб ушел на работу, а я осталась с его матерью, которая тут же приступила к описанию семейной ситуации и своих «затруднений», как она выразилась. Ее муж безработный, дочь Эдит осталась в Тяньцзине, надеясь соединиться с мужем, путешествующим где-то в южных районах Китая в качестве корреспондента ЮПАЙ. Ее младший сын, Мартин, еще учится в школе. Живут они на сбережения, и она боится, что деньги скоро кончатся.

«Мы переживаем трудные времена, — сказала она. — Страна еще не вышла из депрессии. Работу найти трудно. Тебе повезло, что Эйб устроился на хорошую работу. Он зарабатывает двадцать пять долларов в неделю, и при экономном ведении хозяйства вы сможете прилично жить».

Я думаю, госпожа Биховски серьезно сомневается в моем умении «вести хозяйство», но она достаточно любезна и не высказывает вслух своих мыслей. Вместо этого она искренне пытается посвятить меня в тайны «хорошего ведения хозяйства». Она открыла свой кухонный шкаф и показала, как пользоваться разными щетками, швабрами и метлами. «Мыльный порошок для этого, чистящий порошок для того-то, жидкий воск — или ты

можешь предпочесть твердый — для пола и аэрозоль для мебели...» Я уже начала путаться: я никогда это все не запомню! Но тут госпожа Биховски прервала свои инструкции и рассмеялась: «Я забыла, что у вас только одна меблированная комната, нет даже отдельной ванной и кухни! А я учу тебя прибирать большой дом! Тебе вряд ли понадобятся все эти чистящие средства».

Слава богу! Я вздохнула с облегчением и, сразу повеселев, попросила ее избавить меня от дальнейших инструкций по ведению домашнего хозяйства, а рассказать побольше об ее американской семье. Я отдала ей ваши подарки, которые ей очень понравились. Мы болтали какое-то время, а после обеда заехал один из ее кузенов и повел меня в ближайший торговый район.

Витрины с продуктами меня поразили — как я буду выбирать из этого обилия бакалеи, мяса и овощей? Я так жалею, что папа этого не видит, ему бы понравилось разнообразие фруктов и овощей, и, подумать только, можно есть фрукты сразу же, как только их купишь, и не нужно их мыть в кипятке.

В бакалейной лавке я выбрала чудесный маленький пакетик, называвшийся шоколадным пудингом. Нужно только прибавить молока к этому порошку из пакетика, медленно разогреть, и — вуаля! — шоколадный пудинг на четыре персоны! Я немедленно посылаю вам четыре пакетика. Нина любит шоколадный пудинг. Супы тоже продают в банках, и все, что нужно, это консервный нож — и ты подаешь мужу «вкусную и питательную» еду. С такими штучками я могу не очень-то беспокоиться о готовке!

Когда мы вернулись из магазина, **я** попыталась помочь госпоже Биховски приготовить ужин, но она меня отстранила. «Просто отдохни», — сказала она мне. Она действительно очень добрая женщина и очень мужественная.

Здесь меня ждала пачка ваших писем. Первым делом я их прочитала. Как я по вам скучаю! Я рада, что вы в хорошем настроении, ходите в гости, принимаете друзей. Я все время волнуюсь за вас и чувствую себя виноватой, что бросила вас в такое трудное время, когда Тяньцзинь находится в руках японцев, а русские фашисты опять управляют русской общиной. Я знаю, что вы хотели, чтобы я уехала, начала новую жизнь в новой стране, но я все равно чувствую себя виноватой. Я бы хотела, чтобы вы не были так далеко! Я добиралась сюда двадцать шесть дней и очень хорошо знаю, как широк Тихий океан... Мы пошлем вам информацию о возможностях вашего приезда сюда. Эйб уже у дверей, пора кончать письмо...

Шлю вам всю мою любовь и лучшие пожелания всем...

21 мая 1938

Дорогие мои!

Я только что вернулась с экскурсии по Манхэттену. Один из кузенов Эйба, у которого есть машина, возил нас по городу. К счастью (или к несчастью?), я видела Нью-Йорк в кино — Таймс-сквер, Эмпайр-стейт-билдинг, щитовые рекламы Бродвея, небоскребы. Все казалось знакомым, и все же это фантастический город. Поток машин, волны людей, шум... Я была ошеломлена зрелищем, звуками и какой-то агрессивностью этого места. Это было захватывающе интересно, но и пугающе. Я рада, что мы живем на Манхэттен-Бич!

Когда Эйб сказал кузенам, что у меня день рождения (никто не верит, что мне двадцать четыре года; то, что я выгляжу на семнадцать-восемнадцать, меня совсем не радует), они повели нас ужинать в ресторан-гастроном на Бродвее. Что за потрясающее место! Я никогда не подозревала, что существует столько сортов колбасы, копченой рыбы, маринованных огурцов, оливок, хлеба. А десерты! Можно только мечтать о таких восхитительных пирожных. Я хотела бы послать кое-что из них вам. Конечно, наше старое кафе на углу было совсем не плохим, но там просто не было выбора из столь непомерного изобилия.

Закончу письмо завтра. Сейчас я очень устала, и у меня сильно болит голова. Надеюсь, что вы здоровы и более или менее счастливы. Я вас люблю!

P.S. Эйб купил нам билеты в театр. Это подарок мне на день рождения, мы увидим Хелен Хейс в «Королеве Виктории».

22 мая 1938

Дорогие родители!

Вот я в нашем новом жилище — меблированной комнате в Манхэттен-Бич. Эйб провел детство в этом районе и все эти годы хранил воспоминания о большом удобном доме, своем отце, преуспевающем бизнесмене, матери в роли очаровательной хозяйки и самом себе, избалованном, капризном всеобщем любимце.

Манхэттен-Бич, где мы живем сейчас, уже другой, но это все же приятный район Бруклина, вдоль улиц растут деревья, много больших частных домов и частный пляж на берегу Атлантического океана, но его нельзя даже сравнить с пляжами Пейтахо — этот очень людный и шумный, и нельзя долго идти вдоль океана из-за надписей, гласящих: «Частная собственность».

Как вы видите на фотографиях, комната прелестная: большая кровать в нише, удобный стул у окна рядом с маленьким столиком и стол для игры в бридж, который нам служит обеденным столом, за ним же я пишу письма. В нашем кухонном уголке за переносной ширмой размещаются двухконфорочная

электрическая плита, раковина и несколько полок. Вы, конечно, понимаете, что нам просто негде выставить наши свадебные подарки: оставшиеся девять хрустальных графинов для вина, четыре пары серебряных подсвечников, пять серебряных подносов, бесчисленные скатерти и салфетки... Они благополучно лежат в чемодане в квартире госпожи Биховски и ждут лучших времен...

За квартиру мы платим $30 в месяц. Помня указания госпожи Биховски об экономном ведении хозяйства, я разработала для нас строгий бюджет. Вот он: Месячный бюджет ($100) .

Квартира $30 Еда $30

Стоимость проезда и обед Эйба $8 (обед $.25 в день, проезд $.10 в день)

Стирка и чистка $4 ($1.50 за 15 фунтов в стиральной машине в прачечной; $.20 отдать почистить платье)

Домашние расходы $5

Развлечения $7.50

Одежда $10

Разное $4.40

Всего $99 (контора Эйба оставляет $1 для пенсионного фонда!).

Распорядок нашей жизни почти всегда один и тот же. Эйб встает в 7 утра и в 7.30 уходит на работу в «Симплиси-ти Паттерне» в Манхэттене. Я остаюсь в постели до 9, потом включаю радио, пью кофе и занимаюсь своими хозяйственными обязанностями под звуки какой-нибудь симфонии или другой классической музыки, которую передает наше радио.

Раньше я никогда не ценила по-настоящему домашней прислуги! Кастрюли и сковородки, стирка и глажка каждый день одерживают надо мной победу. Я откладываю все до тех пор, пока не наступает момент, когда не остается больше никакой чистой и глаженой одежды. Меня также поражает хитроумная способность пыли прятаться под мебелью и в дальних углах комнаты. Слава Богу, у нас только одна комната. И так мои руки в ужасном виде! Бакалейный магазин находится в нескольких кварталах от нас, на Брайтон-Бич. Захватив аккуратно составленный список, я отправляюсь за покупками. Это довольно просто. Трудно держать себя в руках и не покупать того, чего нет ни в списке, ни в бюджете.

Моему мужу очень легко угодить: он ест все и вся, что я ему подаю. Кстати, мама, пожалуйста, попроси у повара рецепты борща и ухи. И какого-нибудь блюда, в котором я могу использовать креветки. Они здесь очень дешевые. Только обязательно опиши точно каждый ингредиент и этапы

приготовления — как долго варить и т.д.

К счастью, нам не нужно покупать одежду. Дешевые вещи плохо сшиты, а платье получше, например, стоит где-то между $7 и $8. Ты спрашивала меня о ценах и о том, сколько стоит здесь жизнь. Молоко — $.09 бутылка, хлеб — $.08 за буханку, точнее — пакет, потому что он продается уже нарезанным и завернутым в вощеную бумагу; сливочное масло — $.39, мясо — от *$.24* до $.50 фунт, клубника $.10 коробка, черешня $.15 фунт, а персики $.05 фунт. Все продается очень чистым и красиво упакованным, так что приготовление еды — не такое уж тяжелое дело. Мы едим много фруктов и салатов. Я уже поняла, что нашему бюджету очень помогут приглашения на ужин к госпоже Биховски, ее родственникам и друзьям.

Кстати, я посылаю Нине свои размеры. Если у нее будет время, может быть, она сошьет мне несколько блузок и юбку. Как только смогу, пошлю вам денег, чтобы вы купили мне пару туфель. Мне бы хотелось иметь коричневые полуботинки.

Мы получили ответ из Вашингтона. К сожалению, президентский беженский комитет завален просьбами о помощи от европейских беженцев, особенно тех, кто бежит из гитлеровской Германии. Они в первоочередном списке, и для европейцев, застрявших на Востоке, ничего пока нельзя сделать. Однако мы с Эйбом не теряем надежды. Попробуем, может быть, Канаду. Я все время думаю о вас и скучаю больше, чем раньше. Я люблю вас!

P.S. Мы получили от вас большую посылку с китайскими фигурками из слоновой кости и вышивками и с прелестным китайским платьем, которое сшила Нина. Спасибо! Спасибо! Но, пожалуйста, не тратьте деньги, вы нас балуете!

Эти письма оказались у меня, потому что их бережно хранили мои родители (а я хранила все их письма ко мне). Перечитывание их сейчас оказалось для меня открытием. Я забыла, как сильно я любила своих родителей, как ужасно скучала по ним этот первый год в Штатах.

Они тоже скучали по мне. Обычная мамина сдержанность в выражении чувств уступила место таким откровенным излияниям в любви, что я плакала над каждым ее письмом. И папа показал себя в своих письмах ко мне другим человеком: мне писал не отчужденный, авторитарный и эгоистичный мужчина, а гораздо более сложная личность. Талантливый человек, на его пути всегда вставали обстоятельства, мешавшие ему самоутвердиться и добиться уважения и признания, которых, он знал, что заслуживает. Он писал длинные письма, часто это были элегантно стилизованные эссе о жестокости разлуки с любимыми людьми,

сожаления отца, который упустил шанс лучше узнать свою дочь и теперь испытывал боль от пустоты, зиявшей в его жизни. Над этими письмами я тоже плакала.

Теперь я понимаю, что эти письма были его обращением к миру вообще, они давали ему возможность выразить свой гнев и горечь на то, как обращалась с ним жизнь.

Нам не удалось привезти мою семью в Америку. В 1939 году они уехали в Австралию. Это был бы хороший выбор, если бы только мой отец мог принять то, что посылал ему Господь, — загородный дом, удаленный от мировых катаклизмов, работа по специальности, приносившая хороший доход, любящая жена и младшая дочь-красавица. Увы, кажется, он хотел героических направлений в жизни. Он добился больших успехов в лечении астмы, но хотел быть за это вознагражденным общественным признанием, может даже Нобелевской премией. Ему было 63 года, когда в Австралии ему сказали, что для членства в Австралийском Королевском медицинском обществе ему нужен австралийский медицинский диплом. Он пошел учиться в мединститут и получил свой второй диплом, когда ему уже было за 70. Никогда не считая себя иммигрантом, он говорил по-английски с большой уверенностью и с абсолютным пренебрежением к грамматике.

Он мог быть хитрым и убедительным, когда это было нужно, но с удовольствием вступал в конфронтации. Я встречала многих людей, которые восхищались моим отцом, но все они говорили, что невозможно было долго оставаться его другом. Он от всех требовал слепого подчинения и полной к себе лояльности.

Пытаясь добиться признания своего метода лечения астмы в Новом Южном Уэльсе, отец организовывал кампании в прессе и демонстрации матерей. Государственная медицинская комиссия в конце концов сдалась, и отцу выделили один из кабинетов в больнице Уоллонгонг для использования его в качестве экспериментальной клиники. Но он возмущался, что другим врачам не было дано указание пользоваться его методом, — правда, они могли выбрать этот метод и добровольно. Отсутствие у отца смирения неприятно поражало даже тех, кто признавал его несомненный врачебный талант, и постепенно он потерял ту поддержку, которой пользовался в своем кругу раньше.

Я ничего не знала об этом, когда жила в Манхэттен-Бич со своим первым мужем. Я только знала, что люблю своих родителей, и хотела, чтобы они были рядом. Эйб удивлялся, приходя домой и находя меня в слезах над их письмами. Почему я никак не привыкаю к новой жизни? Почему я не так же счастлива, как он?

Сейчас я понимаю, что я чувствовала себя несчастливой не только из-за тоски по дому, но и из-за социальной дезориентации. Моя «американизация » происходила сразу на всех уровнях моего существования; я разом потеряла не только семью и привычное окружение, но и свою этническую, культурную и классовую принадлежность.

Родители учили меня делить окружающих на людей «нашего круга» и других, и это понятие сохранилось у меня с детства, несмотря на раннюю приверженность громогласным советским идеалам бесклассового общества. Теперь же я оказалась среди «других», на самой низкой ступени общества, иммигранткой, невежественной незнайкой, которую нужно было всему учить, как ребенка. Классовые различия в европейском смысле слова в демократической Америке якобы не существовали, но было что-то в американской атмосфере, что заставляло меня испытывать дискомфорт.

Во-первых, мне казалось, что тот район Бруклина, в котором мы жили, был одной большой еврейской деревней, а я не была еврейкой. Я не была частью этой оживленной общины с ее особыми родовыми традициями. Я боялась, что семья моя была права, что Эйб и я действительно принадлежали к разным мирам. Я не ощущала этого раньше, потому что в Китае мы все принадлежали к одному многонациональному колониальному миру, хотя и с различиями между отдельными группами. Эйб был таким же американцем, как все знакомые мне другие американцы. А здесь он был американским евреем, и оказалось, что это имеет значение.

Я знакомилась с людьми, и они мне говорили: «Ах, ты из России! Моя мама тоже из России. Ты говоришь на идиш?»

«Нет, — отвечала я, — я не еврейка ». И на меня смотрели так, будто я была инопланетянкой.

«Попробуй русский кекс», — предлагал кто-нибудь, протягивая мне кусок сухого, начиненного орехами и цукатами кекса, о котором никто из известных мне русских никогда и не слышал.

Зато моя непринадлежность к еврейству оказалась очень удобной для молодой семьи ортодоксальных евреев, живших в одном с нами доме. Моей обязанностью стало выключать свет в их комнатах в пятницу вечером, когда они возвращались домой с работы после захода солнца. «Мы так рады, что ты живешь в этом доме, — говорили они мне. — В этом районе почти невозможно отыскать гоя».

По американским фильмам 1930-х годов я представляла себе американцев совсем другими. Конечно, было наивно с моей

стороны думать, что я буду встречать на улицах Бруклина высоких и красивых Гари Куперов, но я все равно была разочарована.

Вытащила меня из этой подавленности и растерянности моя харбинская подруга Елена Зарудная. Она жила тогда в Кембридже, в штате Массачусетс, и заканчивала Радклиф-колледж. Чарльз Крейн сначала помог двум старшим детям Зарудным, Муле и Сергею, приехать в США, чтобы продолжать образование, а после смерти их отца в 1934 году помог всей семье обосноваться в Кембридже и там учиться.

Через несколько недель после моего приезда в Бруклин Елена позвонила и пригласила меня пожить у них. Я не могла ехать в Бостон одна, и жертвенная Елена приехала на автобусе в Нью-Йорк, объяснила все Эйбу и отвела меня за руку на автобусную остановку.

Оказавшись опять среди старых друзей, за чашкой чая с ***настоящим*** русским пирогом на кухне в Кембридже, совсем как когда-то в Харбине, я почувствовала себя спокойной и счастливой: я была «дома», среди «своих». Все было как раньше: Елена была страстно влюблена, Таня играла в теннис, хорошенькая Зоя всех поддразнивала, а младшая Катя, теперь в последних классах школы, по-прежнему чувствовала себя брошенной. Мы рассказывали друг другу о нашей жизни после Харбина. Иногда у меня спрашивали совета, как у замужней женщины!

Елена познакомила меня с русской эмигрантской общиной в Кембридже. Семьи профессоров Михаила Карповича и Леонтьева и русские жены американских ученых, Алла Эмерсон и Татьяна Мозли, приняли меня как потерянную и наконец-то нашедшуюся родственницу, бедную сиротку, нуждающуюся в любви и поддержке. Про себя они, вероятно, думали, что я вышла замуж не за того человека, но предлагали мне способы справиться с моей теперешней ситуацией. Брак, говорили они в один голос, никогда не может удовлетворить всем запросам современной американской женщины.

«Ты должна что-то сделать со своей жизнью, — говорила Алла. — Ты должна быть независимой. Я не знаю, что можно делать здесь с харбинским дипломом. Может, тебе следует пойти опять учиться. Но что-то делать надо. Не жди, чтобы кто-то другой решил за тебя, какой должна быть твоя жизнь. Вот, прочти эти книги, из них ты узнаешь, что такое Америка». Она сняла с полки «Автобиографию Линкольна Стеффенса», «Вермонтские зимы» и еще несколько томиков.

«А еще, — сказала Таня Мозли, — ты должна постараться,

тобы тебя окружало как можно больше интересных людей. Я тебе дам несколько адресов в Нью-Йорке».

Таня только что развелась с Филиппом Мозли. Она говорила, что не могла выносить его целеустремленную, детально организованную жизнь, ее бесила та тщательность, с какой он планировал свою будущую академическую карьеру. Впоследствии он действительно достиг всех степеней, точно по плану.

Потом энергичная Елена созвала совет своих кембриджских американских друзей, интеллектуалов, широкие интересы которых явно имели «гарвардский» политический налет. Некоторые уже были частью академического мира, другие стояли на пороге многообещающей карьеры в других сферах, некоторые еще не определили, чем хотят заниматься. Елена в конце концов вышла замуж за одного из этих людей, Гарри Левина, известного литературного критика, и сама стала частью гарвардского мира. Все они были ко мне очень добры и делали скидку на мое незнание их мира. Я ничего не знала о журнале «Партизан Ревью» и даже до сих пор не видела литературного приложения к газете «Нью-Йорк Тайме»[15]. Их удивляло мое критическое отношение к Советскому Союзу, но мои суждения они всерьез не принимали.

В это время, после Великой депрессии, многие кембриджские интеллектуалы были убеждены, что Карл Маркс был прав: экономический крах капитализма неизбежен и долг всех мыслящих людей — поддерживать «прогрессивные» режимы, такие как революционный Советский Союз. Мировой политический климат — рост нацизма в Германии, Гражданская война в Испании, британская политика умиротворения Германии и подозреваемые тайные «империалистические» планы направить вновь вооруженную Германию на восток для уничтожения Советского Союза — соответствовал умонастроениям в британском Кембридже того времени. Интеллектуальные лидеры многих университетов были идеалистически настроенные молодые люди, пытавшиеся установить новый общественный порядок, очищенный от всех зол существующей системы. Знаменитая советская шпионская сеть в Кембриджском университете в Англии вербовала своих членов из числа представителей британского высшего общества. Филби, Бёрджес и Маклин, как мы теперь знаем, появились именно в это время.

Я этого тогда не понимала, но была очень впечатлена утонченностью, эрудицией и убедительным красноречием этих людей; я не смела вслух усомниться в их идеях пли мотивах.

На одной из таких встреч было принято общее решение: больше всего мне подходит карьера в... социальной сфере обслуживания! Присутствующие изучили мой харбинский

диплом, весьма внушительный документ на русском и китайском языках, но, по их мнению, после перевода на английский, не дающий мне возможности сделать какую-нибудь полезную карьеру.

Я могла по крайней мере, говорили они, использовать свое знание русского языка. В Нью-Йорке было много русских эмигрантов, нуждавшихся в разных социальных услугах. До этого я никогда не слышала о социальной работе, но с энтузиазмом отнеслась к их предложениям и готова была приступить к работе немедленно.

Но они объяснили, что сначала я должна два или три года учиться в специальном институте и только потом смогу начать работать. Пока же я решила стать хорошей американкой. Я дала себе слово найти интересную работу и стать частью уже не Бруклина, а более широкого американского интеллектуального сообщества. Это краткое пребывание в Бостоне изменило мою жизнь.

Я твердо решила что-то из себя сделать. Эйбу понравилась новая «я>>.

Я узнала, что Бруклинский колледж предлагает большой выбор почти бесплатных курсов по программе образования для взрослых, которая была одним из проектов «Нового курса» правительства Рузвельта и предоставляла работу безработным преподавателям, писателям и артистам. Такие же программы существовали для плотников и каменщиков, дорожных строителей и инженеров. Эти усилия помогли в конце концов вытянуть страну из Великой депрессии. Новый курс позволил также многим разочарованным интеллектуалам внести свой полезный вклад в возрождение американского общества.

Эйб и я записались на несколько вечерних курсов. Он выбрал класс по экономике, а я записалась на английское сочинение, вместе мы слушали курс современной американской литературы. Там мы встретились с самыми разными людьми. Большинство более молодых студентов принадлежали к семьям среднего класса, чей мир пошатнулся от экономического кризиса 1930-х годов. Они изо всех сил старались получить какое-нибудь образование и устроиться в жизни. Многим было немного за двадцать, как и нам, они скучали на тех работах, которые смогли найти, и искали возможность заняться интеллектуальным трудом. Большинство из них были американцами в первом или втором поколении, их родители приехали из Восточной Европы, России, Италии, Германии или Ирландии, но сами они не сохраняли связей со странами своих предков, они все были «просто американцами».

И здесь я внезапно поняла, что наконец попала в настоящую Америку, страну иммигрантов. Брошенные вместе в один тигель, или, как говорят сегодня, в одно рагу, мы все каким-то чудом выходили из него потом «просто американцами», настоящими американцами. Вместо гари **Куперов** или других «героических образов» американских фильмов я увидела американцев всех размеров, фасонов и цветов.

Я перестала делить людей по «классовым» категориям и плакать над письмами моих родителей. Я больше не чувствовала себя чужой. Я была просто чуть-чуть более неопытной, чем мои одноклассники. Их забавляло мое британское произношение, оно казалось им «милым», но не странным и необычным. После занятий мы часто шли пить кофе или есть мороженое в ближайшей аптеке[16], и скоро я оказалась частью оживленной группы новых друзей. Эйб нашел нескольких своих товарищей по школе. Жизнь стала не только терпимой, но и очень приятной.

В конце сентября одна из кембриджских подруг Елены позвонила с сообщением, что Институту тихоокеанских отношений требуется переводчик-исследователь: одному из ученых, работавшему над книгой о Гражданской войне в Сибири в 1919-1921 годах, нужна была помощь, график работы гибкий, оплата по договоренности. Я позвонила, и меня взяли!

На Эйба, его семью и друзей это произвело большое впечатление. Во времена такой сильной безработицы найти любую работу считалось серьезным успехом, но найти интересную и престижную работу было необыкновенной удачей, особенно для новичка. На свою первую зарплату за неделю — пять долларов — я купила подарки семье: разные забавные безделушки для Нины в магазине, где все продавалось за пять и десять центов, шарф для мамы и галстук папе. Я очень была собой горда!

Один из друзей Елены, Мортон Уайт, аспирант Колумбийского университета, пригласил меня на ланч и потом взял с собой на одно из своих занятий. Это был курс Мейера Шапиро о современном французском искусстве, он был блестящим лектором, и передо мной открылся новый мир. Меня озадачивало абстрактное искусство, и я хотела научиться его понимать. К тому же мне нравилось общество Мортона, хотя я и чувствовала себя несколько подавленной его интеллектуальным превосходством. Он познакомил меня с некоторыми своими друзьями, очень похожими на кембриджских знакомых Елены.

Я не была связана жестким расписанием и могла встречаться с ними за ланчем или кофе, иногда сидела на занятиях, которые они посещали. В Колумбийском университете не проверяли

списки присутствующих. Эта компания сильно отличалась от нашего бруклинского кружка. Большинство принадлежало к нееврейским семьям зажиточного среднего класса.

В политических симпатиях они склонялись влево и высказывали резкие негативные суждения об американском истеблишменте. Для них президент Рузвельт, по-видимому, был слишком связан своим «классовым происхождением» и недостаточно интересовался проблемами «масс». Мое посещение советской школы уже сталкивало меня с подобными мнениями, и я была немало удивлена, услышав эти марксистские идеологические трафареты от вполне серьезных, хорошо образованных американцев. Это было не только удивительно, но и прискорбно. Они были против сталинской России, но выступали за социалистические эксперименты. Они были уверены, что можно избежать «ошибок» русской революции и установить «настоящий» социалистический режим.

Сейчас, когда мы стали свидетелями краха коммунистической идеологии в большей части мира, трудно принять всерьез их старые политические убеждения. Однако в то время американские «левые» были полны надежд и сознания своей высокой миссии, когда боролись за свои социалистические идеалы. Коммунизм стал сильной идеологией, опиравшейся на иллюзии, накопленные за многие века. Но, вопреки теории Маркса, американский капитализм устоял, оправился от кризиса и после окончания Второй мировой войны играл важную роль в восстановлении мира во всем мире, не стремясь к империалистической гегемонии.

Перемены в американском обществе в 1940-1950-х годах привели к значительному увеличению числа учебных заведений. Нью-йоркская интеллигенция стала идти в ногу со временем, не отделяя себя от большинства американцев, по мере того как американская интеллектуальная жизнь больших городов втягивала в свою орбиту провинциальные университеты. Эти ньюйоркцы теперь преподавали в Оклахоме, Орегоне и Техасе, а не только в Беркли и Гарварде. Издатели стали платить более высокие авансы. Большинство моих друзей из Колумбийского университета стали авторами книг, хорошо принимавшихся читающей публикой, членами престижных «мозговых центров».

Когда я ввела Эйба в свою «колумбийскую» компанию, он горячо принял их радикальные теории, я же хранила верность «британскому империализму» и президенту Рузвельту, хотя старалась держать свое мнение при себе. Я боялась встретить отпор со стороны своих новых друзей и знала, что я не могу еще спорить с ними на равных по политическим вопросам.

ГЛАВА 8 Гордая и счастливая мать

Миссис Биховски при поддержке всей семьи открыла в 1939 году магазин на Флатбуш-авеню, в самом центре Бруклина. «Бейтс-шоп» продавал восточные товары, в основном импортируемые из Китая. Она оказалась хорошей продавщицей, дружелюбной, энергичной, прекрасно знающей свой товар. Магазин начал процветать. Эйба это удивило. В самом начале он объяснил своей матери, к немалому ее возмущению, что у нее нет никаких шансов преуспеть, потому что, согласно Карлу Марксу, малые предприятия в капиталистическом обществе обречены на исчезновение.

Очень скоро миссис Биховски понадобилось нанять еще одну продавщицу, и она обратилась ко мне. Я работала неполный рабочий день в институте и согласилась приходить каждый день на несколько часов. Эйб не был от этого в восторге, но для меня все сложилось прекрасно. Клиенты принадлежали в основном к зажиточному среднему классу, это были искушенные покупательницы, которым ничего конкретного не было нужно, но которые всегда и везде выискивали всякие необычные предметы. Иногда забегала какая-нибудь конторская служащая, чтобы найти подарок жене начальника или кому-нибудь на свадьбу, и поддавалась искушению купить что-нибудь и себе.

«Бейтс-шоп» предлагал хороший выбор вышитых скатертей, постельного белья, салфеток, ковровых дорожек и других текстильных изделий. Был там и широкий ассортимент фигурок из дерева или слоновой кости ручной работы, фарфора и шелковых гобеленов. Цены были доступные. За дешевыми покупками люди ездили в Чайнатаун, китайский район, но наши покупательницы, дамы с Флатбуш-авеню, не любили приключений. И им нравились мы, потому что мы были необычными продавщицами. Мы действительно гордились нашим товаром и готовы были разделить свое восхищение им с любым, кто входил в магазин. Миссис Биховски лучше меня умела продавать, но я умела лучше ее поддержать беседу, и вместе нам было весело. Мне было поручено украшать витрину, и я с удовольствием расставляла и развешивала прелестные китайские вещицы в большом окне, выходящем на улицу. Наше оформление заслужило похвалу покупателей, что мне весьма льстило. Биховски была довольна, и ее семья, в том числе и сестра Эйба Эдит, вернувшаяся наконец из Китая, радовалась ее успеху.

Работа в магазине познакомила меня с еще одним слоем американского общества. Наши покупательницы, жены

бруклинских предпринимателей, юристов и врачей, были американками во втором или третьем поколении. Казалось, что они вышли из иммигрантского «тигеля» окончательно «отлитыми», образцовыми американками. Они подбирали одежду так, чтобы цвета «правильно» подходили друг к другу, а современная мода определяла их прически и цвет лака для ногтей. Это придавало им уверенности в себе. Журналы, которые они читали, обещали, что «правильный» внешний вид даст понять всему миру, что в их жизни все хорошо, что они довольны и счастливы. Но были ли они счастливы? Иногда после наших бесед они говорили с легкой завистью: «Какая у вас была интересная жизнь! А со мной никогда ничего интересного не происходит». Откуда эта зависть? У них было все, о чем только можно было мечтать: хорошо устроенная, модная американская жизнь. В 1960-х годах я часто думала, что, возможно, именно эта, доставшаяся в наследство тоскливая неудовлетворенность выгоняла их бунтующих сыновей и дочерей из благополучных домов на улицы. Я размышляла о том, не удивляются ли мои флатбушские дамы 1940-х годов тому, что все «правильное» показалось их детям таким «неправильным» двадцать лет спустя.

Этот первый год в Бруклине, если оставить в стороне мои трудности с проспособлением к новой жизни, мы с Эйбом были большую часть времени счастливы. Мы посещали лекции, встречались с друзьями в свободные дни, часто ходили гулять по пляжу и катались на роликах по гладко заасфальтированным улицам Манхэттен-Бич. Ролики купить придумал Эйб; позволить себе ходить на каток мы не могли, а так прекрасно проводили время на свежем воздухе, не заботясь о том, что думают прохожие о двух взрослых людях на роликах — в то время по улицам на роликах катались только дети.

Я продолжала ездить в Манхэттен несколько раз в неделю на работу в институте. Иногда я ходила обедать со своими друзьями из Колумбийского университета, иногда оставалась в Манхэттене до вечера, если Эйб доставал нам билеты в театр. Я постепенно переставала бояться этого города, он даже начинал мне нравиться своими безликими каменными каньонами. Я привыкла к толпам на улице, потоку машин и шуму. Проходя через Рокфеллер-Центр, рассматривая витрины на Пятой авеню, ища выгодные покупки в универмаге Мэйсис, я превращалась в нью-йоркского жителя.

Мы ходили в театр так часто, как нам позволяли 7,50 доллара, откладываемые мною на развлечения. Сидели мы обычно на втором ярусе балкона, но это не мешало нам получать удовольствие от игры Хелен Хейс, Фредерика Мар-ча, Реймонд Масси, Ив Ле Гальен; они были в то время на вершине

артистической карьеры. Наш бюджет не позволял нам часто ходить на концерты, зато мы видели спектакли дягилевского балета с молодой Александрой Даниловой, Татьяной Рябушинской и Мясиным в их замечательном классическом и экспериментальном репертуаре постановок Тюдора, Агнес Демиль и Баланчина. Мы были на первых представлениях только что созданного Американского театра балета[17], совместного американо-британского начинания, заложившего основы истинно американской балетной традиции. Никогда не забуду, как я впервые увидела саму Марту Грэхем в образе женщины из первых переселенцев, направляющихся на Запад к новым границам новой страны. Я сидела, затаив дыхание, смотря, как тела танцоров со свободно изливающейся силой и выразительностью образовывали необычные и неожиданные узоры. Какое поразительное зрелище!

Пришло лето, и Елена Зарудная пригласила меня съездить с ней в Вермонт. Я сама добралась до Кембриджа, и поездка на автобусе мне даже понравилась. Елена собиралась навестить профессора Карповича и его семью в их вермонтском летнем доме. Мы умудрились опоздать на вермонтский автобус, и Елена предложила ехать автостопом. Она объяснила, что это распространенный американский обычай — останавливать проезжающие автомобили и просить подвезти. «Все радклифские студентки так путешествуют!» — уверяла она.

Действительно, почти сразу машина с двумя мужчинами остановилась и подобрала нас, мужчины сказали, что они едут как раз туда, куда нам нужно. Я села на заднее сиденье и очень удивилась, когда один из них пересел ко мне. Елену усадили на переднее сиденье рядом с водителем, и мы поехали. Мой неожиданный сосед почти немедленно стал ко мне приставать. Не знаю, что делали «радклифские студентки» в подобных ситуациях, но я закричала: «Остановите машину! Елена, скажи ему, чтобы он остановил машину! Я выхожу!» Елена попыталась уговорить мужчину оставить меня в покое, но я продолжала кричать: «Остановите машину! Выпустите меня!»

Когда они наконец высадили нас на заправочной станции, я набросилась на Елену. Я ужасно на нее рассердилась. Она призналась, что сама никогда раньше не ездила автостопом, хотя была уверена, что среди ее друзей это было принято. «Прекрасно! Некоторые американские обычаи оставляют желать лучшего! — съязвила я. — Теперь мы просто сядем на следующий автобус».

Дом Карповичей в Зеленых горах напомнил мне типичную русскую дачу — большое, состоящее из многих комнат, жилище с верандой, старомодной кухней, беспорядочное и суматошное. По дому носились дети, взрослые пили чаи и вели оживленные

беседы.

Елену и меня разместили в отдельном маленьком домике, перестроенном из сарайчика для хранения садовых принадлежностей — без водопровода и других удобств, — но там было чудесно. Это так походило на наши каникулы в Западных холмах в Китае! Я не могла желать ничего лучшего. Мы собирали ягоды, грибы или просто гуляли и разговаривали. В один из субботних вечеров мы отправились смотреть традиционную деревенскую кадриль. Какое зрелище! Семьи фермеров, надевшие самые лучшие наряды, музыканты (скрипки и банджо) и длинный стол с сидром и фруктовым пуншем. Такая патриархальность, такая прочная в себе уверенность, такое дружелюбие по отношению ко всем незнакомцам, заходящим посмотреть на их праздник! Старики танцевали вместе со своими внуками. Они лучше знали фигуры кадрили, которые выкрикивал ведущий, и демонстрировали свое умение.

Вот настоящая жизнь в Америке, думала я. Кадриль по субботам, церковь по воскресеньям, браки, рождение детей, внуки, спокойная старость... без революций! Мы тоже могли бы быть такими — семья моей матери и воронежские домочадцы... «Это нечестно! — кричал мой внутренний голос. — Почему нас лишили нормальной жизни?»

Я уверена, что такие мысли никогда не приходили в голову фермерским детям. Они были счастливы, танцуя свою кадриль. Да, думала я, мои дети тоже будут американцами и не будут испытывать этой боли.

Летом 1939 года в Нью-Йорке открылась Всемирная выставка. Эйб купил нам абонементную книжечку, и мы проводили на выставке каждый выходной, изучая всякие диковины. Перед нами открывался весь мир: промышленность, сельское хозяйство, искусство... Мы ходили и ходили, пока ноги не подкашивались. К сожалению, мы не могли себе позволить блюда разных национальных кухонь, предлагавшиеся в многочисленных роскошных ресторанах-павильонах, но на выставке раздавались бесплатно всякие лакомства, и мы никогда не уходили оттуда голодными.

Эйб много фотографировал, и фотографии мы аккуратно помещали в альбомы. Я послала много снимков по почте своим родителям, сопроводив восторженными описаниями того, что мы видели, с неизменным рефреном: «Как я хочу, чтобы вы были здесь и все это видели! Как интересно и весело было бы Нине!» Мы много узнали о прогрессе в технике. То, что сейчас для нас — привычные каждодневные реалии, такие как дальние полеты на самолетах и исследование космоса, было еще сферой научной

фантастики. Выставка представляла собой восхитительную картину светлого, нового мира будущего — человек будет контролировать окружающую среду и даже вселенную, человечество всех цветов и верований сольется в одну счастливую семью. Увы, эти оптимистические прогнозы рождались без учета тонкостей исторических, этнических и культурных различий, но мы были готовы в это верить и не сомневались, что нас всех ожидало именно такое будущее.

А потом в Европе началась война. Пакт Гитлера со Сталиным очень огорчил нью-йоркскую интеллигенцию, и Американская коммунистическая партия пришла в замешательство. Мы слушали по радио новости почти все время, чтобы знать, как идет война, и читали газеты от первой до последней страницы. Вначале американское общественное мнение разделилось: одни хотели немедленно примкнуть к союзникам, другие объявляли себя изоляционистами, но в общем и целом мнение склонилось в пользу союзников и против Германии. Из-за войны поддерживать связь с моими родителями, которые к тому моменту уже жили в Австралии, стало труднее, но я знала, что непосредственная опасность им не грозит. К тому же практика моего отца в это время возросла, потому что многих молодых врачей призвали в армию. Родители жили в достатке. Их дом стал центром русской эмигрантской культурной жизни в Сиднее. Мама активно работала в сиднейском Пушкинском обществе, отец продолжал писать, а сестра начала учиться в университете. Они строили новую жизнь в очень далекой от меня стране.

Эйб никак не мог до конца согласиться со сторонниками войны с Гитлером — ему все еще чудились военные происки империалистов... Но от Европы нас отделял огромный океан, а мы были молоды и заняты собственными планами. Жизнь продолжалась. Эйб нашел другую работу, теперь он работал бухгалтером, и у нас было больше денег на развлечения. Мы стали выезжать за пределы города, проводили летние отпуска в походах с палатками на севере штата Нью-Йорк.

Младший брат Эйба, Мартин, часто ездил с нами. Он учился в последнем классе школы и был умным, красивым, но одиноким юношей, как-то не вписывавшимся в образ «типичного молодого американца», столь популярный среди его одноклассников. Он не хотел общаться с соседскими мальчиками, не занимался спортом, мы давали ему возможность освободиться от домашних обязанностей и семейной рутины, и он часто проводил с нами свои выходные дни. Эйб с удовольствием принял на себя роль его учителя и ментора во всех жизненных вопросах.

Мне нравился Мартин, и я радовалась его присутствию, тем

более что Эйб вел с ним бесконечные, столь любимые им политические дебаты. Я уже избавлялась от моей прежней полной зависимости от Эйба, в процессе «американизации» я начала чаще и убедительнее оспаривать взгляды и мнения. Но миссис Биховски обижалась на наш отказ помочь ей удержать Мартина дома. На самом деле она, вероятно, была права, ожидая от Мартина помощи по дому и магазину, которую он наотрез отказывался осуществлять. Со стыдом должна признаться, что мы считали ее неудачливой матерью, заслужившей свою судьбу. Что мы тогда знали о воспитании детей!

Я забеременела, когда мы еще жили в меблированной комнате в Бруклине. Это застало нас врасплох. Хотя Эйб сменил работу и получал больше денег, он заявил, что о ребенке не может быть и речи. «Мы просто не можем себе этого сейчас позволить, — говорил он. — Это не должно было случиться. Ты что, не предохранялась?»

Я предохранялась, кроме одного раза, когда мы ездили с палаткой в горы Адирондака. В отчаянии я обратилась к доктору Абраму Кагану, другу моих родителей по Харбину, чья семья очень хорошо ко мне относилась. Он высказал разумную мысль, что в двадцать семь лет пора бы уже стать матерью. Он считал, что молодые здоровые супруги должны радоваться предстоящему рождению ребенка. Кроме того, он по закону не имел права прервать мою беременность.

«Твои родители были бы очень недовольны, если б я помог тебе сделать аборт, — сказал он мне. — Все будет хорошо, все образуется, вот увидишь».

Эйб впал в отчаяние. Он считал, что США скоро вступят в войну в Европе и тогда его призовут в армию. «Сейчас не время иметь ребенка, — умолял он. — Почему ты не хочешь быть благоразумной?»

Но я стояла на своем: не буду делать аборта, доктор прав, скоро я буду слишком стара, чтобы рожать детей... В то время все так считали.

Миссис Биховски оказывала мне всестороннюю поддержку. Она-то уже была готова стать бабушкой! «Оставь свою работу и помогай мне опять в магазине», — говорила она.

Ни Эйб, ни я совершенно не понимали, что такое иметь ребенка. Мы начали судорожные поиски квартиры, которую могли себе позволить и которая находилась бы недалеко от «Бейтс-шоп». Эйб мрачно предсказывал, что не существует такой роскоши, как недорогая двухкомнатная квартира во Флатбуше, но к концу лета мы переехали именно в такую, на первом этаже большого здания, в трех кварталах от магазина. Эйб считал, что

это заговор. Магазин его матери процветал, а хозяин нашего дома разрешил не платить за первый месяц, просто чтобы помочь нам устроиться и приготовиться к рождению ребенка. Это был пример «капитализма с человеческим лицом», и Эйб не знал, что об этом и думать. Я же чувствовала себя здоровой и счастливой и, наконец-то имея собственную кухню и ванную, даже получала удовольствие от настоящего ведения хозяйства.

Легкая беременность не подготовила меня к материнству. Моя дочь Натали родилась в апреле 1941 года, на следующее утро после того, как мы посмотрели фильм «Унесенные ветром». Сцены Гражданской войны, смерть и разрушения, так живо представленные на экране, вызвали воспоминания о моем собственном детстве, и я плохо спала, меня мучили кошмары, в которых постоянно присутствовали железнодорожные вокзалы и пропущенные поезда. Рано утром у меня отошли воды; боли я не чувствовала и настояла на том, чтобы положить в саквояж книгу. Когда мы приехали в больницу, медсестра мне шепнула: «Милая, поверьте мне, вам будет не до чтения...»

Я спокойно ответила, что не намереваюсь терять время в ожидании рождения ребенка. «Ваш первый? — спросила она. — Желаю удачи!»

Она, конечно, была права. Когда я почувствовала первые боли, я услышала крик и страшно удивилась, поняв, что это кричу я. Почему мне не сказали, что это будет так больно, подумала я с возмущением, и немедленно опять погрузилась в невыносимую боль. В какой-то момент мне дали наркоз, и я отключилась. Я не знаю, как этот ребенок появился на белый свет: меня там не было.

Я приехала в больницу бодрой, здоровой молодой женщиной, а проснулась с чувством, что я умерла и была насильно возвращена к жизни. Я была очень слаба и дезориентирована. Это совсем не было похоже на то, что описывал Толстой в своих романах. Я не ощущала никакой «радости материнства». Мне просто хотелось остаться одной и все время спать.

Пришел Эйб, измученный волнением и бессонной ночью. Он уже видел ребенка, это была девочка, по его словам — уродливая,вероятно монголоидная.

Я ребенка еще не видела. Я была слишком слаба, чтобы воспринять эту новость. «Он, наверное, прав», — думала я, но, помня последние слова Скарлетт О'Хара в «Унесенных ветром», я решила поразмышлять об этом завтра. И заснула.

Потом ко мне ворвались миссис Биховски и Эдит в состоянии эйфории. «Поздравляем, поздравляем! — восклицали они. — Чудесная девочка, такая хорошенькая, просто прелесть!»

Я им не поверила. «Но Эйб сказал, — начала я говорить

дрожащим голосом, — Эйб сказал, что она, вероятно, монголоидная...»

Они страшно возмутились: «Как он мог такое сказать? Что он понимает? Он же никогда в жизни не видел новорожденного ребенка! Не верь ему!»

Тут я уже расплакалась. Они обнимали и целовали меня и уверяли, что я родила прекрасного ребенка. Я заснула, потом мне принесли ребенка на кормление. Какое облегчение! Конечно, Эйб неправ! Это был абсолютно нормальный ребенок, вполне хорошенький и симпатичный. Однако Эйб продолжал смотреть на девочку с большим сомнением.

Хорошенький сверток с еле видневшимся розовым личиком приносили ко мне и клали рядом на кровать для того, чтобы я ее кормила. Я не чувствовала, что это моя дочь. Это мог с тем же успехом быть осиротевший щенок или другое крошечное существо, чья жизнь зависела от еды. Первые два дня я была так слаба, что спала днем и ночью, и плохо помню, что происходило в моей палате.

«Зачем иметь детей? — разглагольствовал Эйб, навещая меня по вечерам. — Продолжение рода? Общественное мнение?» Он продолжал в этом же духе, ожидая от меня, может быть, разуверений, но у меня не было сил отвечать. Про себя я думала: «Оставь меня в покое... Я должна была родить ребенка, так как не хотела делать аборт. Выбора не было. Пусть все будет как будет... Что сделано, то сделано. Мы должны будем стараться делать все, что в наших силах...» И я опять засыпала, уткнувшись в мокрую от слез подушку.

Просыпаясь, я видела сверток, открывающий ротик и жадно ищущий мою грудь. Однажды она перестала сосать, открыла глаза и посмотрела вокруг. «Я ей нравлюсь, — подумала я, — она довольна и ничего другого от меня не ожидает, как только теплого тела, чтобы прижаться, и побольше молока». Девочка закрыла глаза и вздохнула. Ну что ж, прекрасно, мы просто обе будем лежать в кровати и мирно спать всю дальнейшую жизнь. Пришла медсестра забрать ее, и я осталась одна. Вдруг я почувствовала, что мне ее не хватает и я хочу, чтобы ее принесли обратно!

На третий день моего пребывания в больнице мне велели встать с кровати и начать ходить. Они что, с ума сошли? Но я попробовала, не смогла и упала, плача, на руки медсестры.

Пришел мой врач и строго посмотрел на меня. «Никогда не слышал ничего подобного, — сказал он. — С вами все в порядке. Немножко анемичны, может быть... Как вы собираетесь заботиться о ребенке, когда вернетесь домой?

Бы пробудете в больнице только несколько дней. Надо ходить. Вставайте».

Какой злой человек! Я умру сейчас прямо перед ним, тогда будет знать. «Если ты умрешь, — сказал какой-то голос внутри меня, — кто будет кормить это крошечное существо?» Я встала и пошла, медленно переставляя ноги.

«Так-то лучше, — сказал врач. — Это проще простого. Продолжайте».

Он был прав, я должна была встать на ноги. Теперь от меня зависела жизнь маленького человечка. Этим вечером я более внимательно слушала риторические жалобы мужа и даже попыталась его подбодрить, сказав, что ему может понравиться учить ребенка ходить, говорить, читать. Он внезапно переменился, повеселел и начал рассматривать ситуацию как интересный проект, пробу его сил. С этого дня хорошенький сверток стал нашей дочерью, и, когда меня выписали из больницы, Эйб тоже сиял от гордости, вынося ее на руках в мир.

Первую неделю у нас жила профессиональная няня, приятная пожилая женщина. Мы с Эйбом расслабились. Она занималась ребенком, и мне ни разу не пришло в голову посмотреть, как она это делает, но накануне ее ухода она заявила: «Вы очень необычная пара... Вы ни разу не подошли заняться ребенком за всю неделю. Что вы будете делать, когда я уйду?»

Уйдет?! Какая ужасная мысль! Я была в панике, но Эйб меня успокаивал: «Она хороший и тихий ребенок. Мы просто будем ее кормить и укладывать спать. Пока она все равно ничего другого не делает...»

Сиделка повернулась ко мне и покачала головой: «Лучше посмотрите вечером, как я ее купаю. Или еще лучше — я посмотрю, как вы будете ее купать».

«Я помогу, — благородно вызвался Эйб. — Будет интересно».

Получилось не очень-то интересно. Пока Эйб наливал воду в ванночку, я вынула ребенка из колыбели. По дрожанию моих рук она, вероятно, почувствовала, что что-то не в порядке, и немедленно и очень громко выразила свой испуг. Я никогда не слышала, чтобы она так громко кричала, и неудивительно — она была совершенно права, ее жизнь была в опасности. Я так испугалась, что чуть не уронила ее в ванночку. К тому же вода была, наверное, слишком горячей, потому что она закричала еще громче. Я беспомощно повернулась к няне. Как только та заняла мое место, ребенок успокоился, перестал кричать и с удовольствием купался.

Эйб храбрился. <<Мы научимся», — заверял он меня, но я сомневалась. Сиделка ушла, пожелав нам удачи. Мы ожидали

самого худшего — и дождались. Это была страшная неделя — девочка постоянно кричала, мы не спали ночами и советовались с госпожой Биховски, которая не могла нам помочь, потому что у нее самой детьми всегда занимались няни.

И вдруг одним прекрасным утром все резко переменилось. Девочка, вероятно, поняла, что ей никуда от нас не деться. Умелой женщины, которая ей занималась до того, больше нет, а эта женщина, годная только на то, чтобы давать молоко, теперь стала главной. Женщина явно ничего не умела, но выбора не было. Поскольку надо выживать, надо принять мои неуклюжие усилия. Она перестала кричать, спала всю ночь и даже пыталась со мной играть, издавая разные смешные звуки, когда я меняла ее пеленки.

Какое облегчение! Какая у меня замечательная, умная дочка! Мы ответили ей тем же. Эйб научился мастерски готовить еду и даже улыбался ей, когда давал сосать бутылку. Мы научились ее купать без того, чтобы мыло каждый раз попадало ребенку в глаза, — тоже триумф!

Девочку назвали Натали Энн — Натали в честь героини «Войны и мира» Толстого, Энн в честь моей старинной подруги, переехавшей в Австралию. Мы решили не называть ее в честь родных. Натали Энн Бейтс звучало прекрасно, очень здорово, очень «по-американски».

Эйб и Мартин поменяли свои фамилии на Бейтс, когда миссис Биховски открыла свой «Бейтс-шоп». В семье решили, что это будет разумно. Многие новые иммигранты меняли фамилии, особенно такие, которые было трудно писать или произносить по-английски. Но недавно один из сыновей Мартина вернул фамилию Биховски, чтобы подчеркнуть свою этническую и религиозную принадлежность, а мою дочь все ее друзья называют Наташей, и она гордится своими русскими корнями. Теперь только русская мать, говоря по-английски, называет ее Натали. То, что было «правильным» в 1940-х, нашим детям кажется «неправильным ».

Первая прогулка Натали **в** роскошной коляске, подаренной нам Биховски, оказалась тяжелым испытанием. Я никогда до того не возила детской коляски и не знала, как спустить ее с тротуара, чтобы пересечь улицу по дороге в парк. Я как-то не ожидала трудностей с этой стороны, но когда я опустила нижние колеса, девочка скользнула вниз и ударилась головой о крышу коляски. Я быстро втянула коляску назад и стояла, дрожа, пытаясь придумать способ перейти через дорогу. Придумать я ничего не смогла и решила, что коляска, должно быть, дефектная. Делая вид, что все в порядке, повернулась и просто пять раз обошла

вокруг квартала. Я подумала, что этого вполне достаточно, чтобы ребенок надышался свежим воздухом.

Вернувшись домой, я позвонила Биховски и рассказала, что случилось. Она рассмеялась и объяснила, что сначала надо спустить с тротуара задние колеса. Откуда я могла это знать?

Очень скоро я превратилась в любящую, даже страстную мать, посвящавшую жизнь своему ребенку. Эйб уходил на работу, и я оставалась одна с Натали. Мне самой было трудно поверить в то, что мой день начинался в шесть утра. Я не только просыпалась, но была бодрой и энергичной. Я занималась ребенком, готовила завтрак Эйбу и после его ухода принималась за домашние заботы — вытирала пыль, пылесосила, стирала и гладила. В одиннадцать часов мы шли гулять в парк.

Довольно скоро она уже перебралась из большой коляски в прогулочную, а еще некоторое время спустя я вела ее за ручку к детской площадке. Но распорядок оставался тем же. К часу дня мы возвращались домой обедать, я укладывала ее спать, а в три мы опять были в парке. По дороге домой я покупала продукты к ужину, в пять мы были дома, я сажала ее в ванну, а сама готовила ужин.

Эйб возвращался в полседьмого, и это было время его игры с дочерью. К восьми часам она уже спала. Мы тоже часто рано ложились, помыв посуду и кратко обменявшись новостями прошедшего дня.

Я разговаривала с девочкой, рассказывала ей сказки и пела русские песни. Меня награждали улыбками и воркованием. Неудивительно, что муж мой скоро почувствовал себя заброшенным и жалел о тех днях, когда я всецело принадлежала ему. Мне не хотелось больше ходить с ним гулять или кататься на роликах по вечерам. Конечно, к вечеру я уставала, но, если говорить правду, я предпочитала ему общество моей дочери.

Я считала, что Эйб эгоистичен, он должен бы понимать, что наша жизнь не может идти по-прежнему, когда центром всего стал ребенок. Но Эйбу было скучно сидеть дома по вечерам или ходить одному в кино. Иногда Мартин предлагал посидеть с ребенком вечером, но я и на это соглашалась неохотно. А что, если Натали проснется?

«Ты рабыня этого ребенка! — сердился Эйб. — Так нельзя жить!»

Я поняла, что должна уступить некоторым его требованиям, и пыталась делать это с веселым видом. В выходные дни, когда мы шли с Натали в парк, Эйб натягивал сетку, и мы играли в бадминтон. На нас, думаю, было забавно смотреть. Мы били по волану с большей силой, чем нужно; казалось, мы колотим друг

друга. Мы жестко соревновались. Эйб, конечно, играл лучше меня, но я старалась изо всех сил, и победы доставались ему нелегко. После таких «игр» мы оба чувствовали себя намного лучше, и наш брак словно укреплялся. Я часто вспоминаю сейчас нашу игру в бадминтон, когда вижу, как супружеские пары играют в теннис. Надеюсь, теннис им так же помогает, как нам помогал бадминтон.

Натали была прелестным ребенком. Ее лысая головка скоро покрылась светлыми золотистыми кудряшками, огромные карие глаза всегда сияли. Она пыталась принимать участие во всем. Когда я везла ее в коляске, она садилась или пыталась встать, тыча пальцем во все, что видела по дороге, и вовлекая меня в «разговор». Скоро воркование сменилось словами и даже целыми предложениями. У нас была очаровательная маленькая девочка! Эйб стал проводить с ней больше времени, и мы казались образцовой американской семьей.

Осенью 1941 года Эйб решил записаться на вечерние курсы повышения квалификации. Получив диплом бухгалтера-счетовода, он смог бы найти более высокооплачиваемую работу. Я уверена, что это решение было также и следствием его вынужденного сидения дома по вечерам, но вышло все как нельзя лучше. К тому моменту, когда разбомбили Перл-Харбор и Америка вступила в войну, Эйб закончил курсы и получил хорошую работу на оборонном предприятии на другой стороне реки Гудзон, в штате Нью-Джерси. Таким образом, он даже не подлежал мобилизации.

В первые недели войны, когда многие были охвачены беспокойством и тревогой, мы отпраздновали свое первое семейное Рождество, и оно было очень счастливым. Мы купили большую елку, Мартин, Эйб и я ее украсили, и для всех были подарки. У меня в детстве никогда не было елки, но мне запомнилось одно Рождество во время Гражданской войны. Увлеченно занимаясь в Америке приготовлениями к празднику, я вспомнила маму и Аграфену, как они собрали ветки, обернули их зеленой бумагой и склеили, чтобы соорудить подобие рождественской елки. Они украсили ее цепями из разноцветной бумаги, золотая бумажная звезда сияла на верхушке, а в сочельник зажгли настоящие свечки, принесенные домой из церкви.

Первое Рождество Натали, конечно, значило для меня больше, чем для нее. Она смотрела на яркие огоньки и визжала от восторга. Ей очень понравилось раскрывать подарки, она рвала бумагу и, смотря на меня, пыталась повторять: «Для папы»... «для мамы»... «для бабушки».

Следующие годы принесли много нового. Мартин проходил программу подготовки в военно-морской флот при Корнеллском университете, а потом его послали в офицерское училище. Эдит развелась с мужем, который решил остаться в Китае, и скоро снова вышла замуж. Миссис Биховски подумывала о закрытии своего магазина — привозить товары из Китая стало очень сложно, к тому же она не очень хорошо себя чувствовала. Я помогала ей **в** магазине, сколько могла, но у меня было мало свободного времени.

Однажды, когда я была в магазине, она пожаловалась на недомогание и я уговорила ее пойти к врачу. Через несколько часов позвонил врач и сказал, что он хочет немедленно положить ее в больницу, так как подозревает рак. Биховски постоянно жаловалась на всякие боли, но никто не принимал это всерьез. И вдруг такое!

Она так и не вернулась из больницы. Рак распространялся очень быстро и был неоперабельным. Это был ужасный удар для всех нас. Ее муж был буквально раздавлен. С помощью родственников Биховски мы закрыли «Бейтс-шоп». Пришло время нам уезжать из Бруклина.

Нам повезло, и мы нашли квартиру на Клермонт-авеню, маленькой улице в северо-западном районе Манхэттена, недалеко от Колумбийского университета и парка Риверсайд. Эдит со своим новым мужем сняли квартиру на той же улице, а напротив жила моя старинная подруга Таня Зарудная, теперь миссис Роберт Халл. Я не могла нарадоваться на то, как все славно получилось. Трехкомнатная квартира была просторной и удобной, всем хватало места.

Я была гордой и счастливой матерью, но теперь стала замечать какое-то странное поведение и черты характера своей дочери, которые меня сильно беспокоили. В возрасте двух лет она стала упрямой и непослушной, при каждом удобном случае, бросая вызов моему авторитету. Я говорю: «Нет, не трогай это», она смотрит мне в глаза и отказывается убрать руку. Меня саму вырастили в строгом повиновении родительской воле, и я, опешив, решила прибегнуть к более сильным мерам. Отодвигая ее руку, я легонько по ней ударяю. В свою очередь удивившись, она тут же снова протягивает руку. Когда я поднимаю руку, чтобы снова хлопнуть, она гневно первая бьет меня.

Я была поражена. Что должна делать мать в такой ситуации? Она вела себя агрессивно по отношению к другим детям и часто устраивала чудовищные истерики, лежа на полу, вопя и лягаясь, как дикая лошадь. Эйб не воспринимал это всерьез, а наши друзья говорили: «Не беспокойтесь, все дети так себя ведут. Она это

перерастет».

Я проконсультировалась с педиатром, доктором Тиной Уоссон, подругой Аллы Эмерсон. Та посоветовала отвести Натали в Йельскую детскую клинику для тестирования. Увидеть своего ребенка глазами опытных клиницистов и психологов было откровением. Эйб и я вышли из этой клиники успокоенные и ободренные, а наш ребенок избежал ненужных травм. Серия тестов, игр и встреч с другими детьми раскрыла ее умственные, эмоциональные и физические способности. За те два с половиной часа, что мы провели в клинике, мы узнали что Натали — одаренный ребенок, намного опередивший обычное умственное развитие детей ее возраста, что она хорошо развита физически и прекрасно чувствует музыку и форму.

«Такая вот динамичная личность, — заключил доктор Гизел. — Но вы должны следить, чтобы она не переусердствовала. Постарайтесь, чтобы она как следует отдыхала.

Я советую давать ей стакан апельсинового сока при первом признаке усталости».

А доктор Илг дал мне еще несколько практических советов: «Когда вы возвращаетесь домой из парка, сажайте ее в теплую ванну и пусть она там играет, пока вы готовите ужин. Кормите ее до прихода вашего мужа домой. Вам всем так будет легче».

Еще одним полезным советом была перестановка в комнате Натали. Мы больше не засовывали все ее игрушки в одну большую коробку, а разделили комнату на несколько игровых секций — один угол для кубиков, другой для кукольной кроватки и кукольных вещей, все книги на полке около кровати, посреди комнаты мольберт с цветными мелками и кисточками, готовыми к употреблению при первых признаках вдохновения.

Психологи были правы. Наша жизнь наладилась, и мы отметили чудесную перемену в поведении Натали. Я испытала огромное облегчение, казалось, мне подарили набор ключей, волшебно открывающих двери, о существовании которых я и не подозревала, — двери, которые впустили меня в мир моей дочери и позволили мне ей там помогать.

В три с половиной года Натали начала ходить в детский сад, и все было прекрасно. Она посещала детскую школу при Музее современного искусства, и ее картины были отобраны для ежегодной выставки детского творчества. У нас было фортепьяно, и она с удовольствием училась исполнять мелодии, часто пытаясь и сама «сочинять» музыку. В шесть лет ее записали на уроки танцев, и там она тоже скоро стала «звездой». Учителя всех классов призывали нас серьезно задуматься о будущем Натали как художницы, пианистки, актрисы или балерины. Нам это

льстило, но мы оставляли решение за самой Натали, когда она вырастет. Пусть она занимается всем, чем хочет, пока ей это не надоест.

ft Мы попытались отправить ее в городскую школу незадолго до того, как ей исполнилось шесть лет. Это оказалось катастрофой. Сначала она пошла туда охотно, но в конце первой недели заявила нам, что больше в эту школу не пойдет никогда. Она не узнавала ничего нового, ей было скучно, дети были ужасные, и дома ей гораздо интереснее. Решение она приняла окончательное. Никакие мои доводы или уговоры на нее не действовали. Когда я попыталась силком отвести ее в школу, дело дошло до истерики, и я привела ее обратно домой.

К счастью, Иельская клиника научила нас уважать своего ребенка. Я пошла в школу поговорить с учительницей. Натали была права: школа располагалась в грязном старом здании с облупившейся краской, разбитыми стеклами и сломанными стульями. Учительница сказала мне, что ей не хватает Натали, потому что ее всегда можно было попросить почитать вслух классу и заниматься другими делами. Я вынуждена была согласиться с дочерью — ей безусловно было лучше дома.

Однако проблема ее образования оставалась. Мы стали советоваться с друзьями. Татьяна Мозли, теперь жена Владимира Терентьева, посоветовала отправить Натали в частную школу: «Спроси Тину Уоссон, у нее хорошие связи. Ее муж вице-президент "Морган-банка"».

Увы, то, что посоветовала Тина, оказалось для нас слишком дорого. И тогда Татьяна сказала нам об интернате, о котором она недавно услышала, школе «Черри-Лоун» в Дарьене, штат Коннектикут. Я сомневалась — не хотелось, чтобы Натали жила вне дома, но после разговора с директрисой школы, доктором Богуславской, я передумала. «Дорогая, — сказала мне директриса, — у вашего ребенка много талантов, которые будут прекрасно развиваться в нашей школе. Мы согласны предложить ей стипендию. Пожалуйста, подумайте».

Мы уже знали, что школа пользуется прекрасной репутацией, что на одного учителя приходится совсем немного учеников, что школа находится в деревне, на природе, и что там очень много интересных внеклассных занятий.

Но я боялась, что Натали слишком мала, чтобы расставаться с родителями. Отложив принятие окончательного решения, мы отправили Натали в летний лагерь в Вермонте.

Натали так там понравилось, что она сама предложила отправить ее в «зимний лагерь». Теперь, удостоверившись, что она может существовать без нас, мы записали ее в «Черри-Лоун».

И хотя мы ужасно по ней скучали, причин для беспокойства не было. Мы часто писали ей письма и приезжали каждое воскресенье. Натали прекрасно там освоилась, ее все любили, училась она с удовольствием, писала стихи, рисовала, танцевала, занималась музыкой и обожала ездить верхом. Мы сделали правильный выбор: наша умная, веселая девочка была счастлива, и мы поняли, что с этого момента она уже не зависела от нас так, как прежде.

Натали не стала ни художницей, ни музыкантом, ни балериной. Чтобы преуспеть на одном из этих поприщ, пришлось бы многие годы жить в строгой дисциплине, а это помешало бы другим ее интересам. Она закончила Вассар-колледж по специальности «культурная антропология», но в аспирантуру решила не идти. Вместо этого она много путешествовала по миру, и бурные 1960-е годы ее не коснулись.

Теперь она во всех отношениях современная американская женщина, интеллигентная, начитанная, работающая и активно участвующая в общественной жизни. Разведясь после семилетнего брака и оставшись в дружеских отношениях с израильским художником, без детей, она ведет очень интересную и активную жизнь, сочетая трудную работу в Национальном институте психиатрии с ролью покровительницы авангардного искусства. Она стала основательницей и председателем первого видео- и киноконкурса в Вашингтоне, устраивает еженедельный художественный «салон» в Адамс-Морган (район Вашингтона, где живут представители многих культур, в том числе и она сама), поддерживает экспериментальный театр и продолжает ходить на танцы как минимум два раза в неделю.

Она остается той же «динамичной личностью», которую увидели в ней специалисты Йельской клиники много лет назад, и у нее огромное количество друзей. (В списке приглашенных на ее прошлый день рождения, который организовывал специальный комитет, было 400 человек!) По теперешним меркам, ее жизнь удалась, и я горжусь ею.

ГЛАВА 9 «Голос Америки »

Во время Второй мировой войны, когда Советский Союз оказался союзником западных держав, в Америке возникла необходимость в специалистах по русскому языку. Русских эмигрантов брали на работу в качестве переводчиков и учителей. Все большее число студентов колледжей и университетов хотели изучать русский. К тому времени я уже немного преподавала частным образом студентам Колумбийского университета, чье русское отделение стало центром бурной деятельности, и в 1945 году я получила неожиданное предложение от профессора Андре фон Гро-ника работать с ним над созданием учебника русского языка для американских студентов.

Необходимость в таком учебнике возросла к концу войны, когда закон о льготах демобилизованным позволил многим военным продолжить или начать обучение в высших учебных заведениях бесплатно. Профессор фон Гроника разработал простой и удобный метод из тридцати уроков. Каждый урок объяснял какое-нибудь правило грамматики и сопровождался повествовательным текстом и диалогом. За урок нужно было выучить не больше двадцати пяти новых слов или выражений. После текста шли грамматические упражнения и задание перевести на русский небольшой английский текст, который был «вариацией на тему» предыдущего русского текста.

Я должна была составлять тексты и упражнения. Профессор фон Гроника сильно рисковал, беря меня в помощницы, думала я, он ведь не знал ничего о моих способностях в этой области. На самом деле я подозреваю, что это его жена уговорила пригласить меня. Ее дочери ходили в ту же балетную школу, что и Натали, и в ожидании конца их занятий мы проводили много времени вместе и хорошо узнали друг друга. Мое знание русской культуры ее впечатлило, видимо, настолько, что она рассказала обо мне мужу. Он был профессором Колумбийского университета, приглашенным из Чикагского университета для расширения русской программы.

Я согласилась, но контракт, который он предложил мне подписать, меня несколько удивил. За каждый подготовленный и переданный ему урок я должна была получать всего 20 долларов. Он также сохранял за собой право расторгнуть контракт в любое время по своему усмотрению. И только когда все тридцать уроков будут готовы и им одобрены, будет обсуждаться вопрос о моем соавторстве. Естественно, я сказала, что должна посоветоваться с мужем.

Эйб возмутился: «Они обращаются с тобой, как с нищей беззащитной русской беженкой! Ты теперь американка. Где твое самолюбие?»

Но, принимая во внимание занимаемое профессором Гроника положение, я подумала, что все-таки следует воспользоваться такой редкой возможностью. Ведь, по существу, в это время я была просто домашней хозяйкой и в академическом мире — ничто. Эйба я не убедила, но все равно согласилась работать над книгой, проявив свою гордость в том, что контракта не подписала, а работала на основании устной договоренности. Профессор фон Гроника удивился, но согласился с моим решением. Честно говоря, я думаю, что у него не было других кандидатов на эту работу, а издатели торопили его со сроками.

Книга «Основы русского языка» («Essentials of Russian») была закончена в срок, и мое имя стояло на обложке. Я получила также 40% гонорара. В 1947 году учебник попал в список бестселлеров, и издательство «Прентис-Холл» печатает новые тиражи до сего дня. Андре и Хильде фон Гроника стали моими хорошими друзьями, и наша дружба пережила все четыре переиздания книги. Я до сих пор горжусь этими «Основами». Это хороший, сегодня звучащий немного старомодно текст, имеющий одно редкое для учебников свойство — чувство юмора.

По совету того же Андре я подала заявление о приеме на работу в качестве диктора-журналиста на радиостанцию «Голос Америки», существующую при Государственном департаменте, хотя первоначально она была создана Министерством по военной информации правительства США. Говард Фаст в своих мемуарах сумел передать дух тех первых передач для раздираемой войной Европы: «Говорит "Голос Америки". Это голос надежды и спасения человечества, голос моей чудесной, прекрасной страны, которая положит конец фашизму и перестроит мир...»

В 1946 году «Голос Америки» обращался уже к другому миру. Советский Союз, наш союзник в войне, возвращался к прежним нормам жизни и поведения и становился опасным противником. Из-под добродушной маски «дяди Джо Сталина» военного времени теперь выглянуло истинное лицо жестокого диктатора.

Русское вещание на Советский Союз должно было начаться в 1947 году. Я высоко ценила ярко выраженное антикоммунистическое содержание радиопередач и была уверена, что Америка действительно «надежда и спасение человечества».

Я легко прошла необходимые тесты, и меня взяли на работу одновременно с другими нью-йоркскими русскими эмигрантами — трое мужчин и три женщины. Мы работали вместе со штатом редакторов, авторов, звукорежиссеров, секретарей и машинисток.

Труднее всего оказалось найти квалифицированных русских машинисток. «Голос Америки» нанял двух семидесятилетних русских дам, которые последний раз работали в правительстве Керенского в 1917 году! К счастью, несколько человек были профессиональными журналистами и сами печатали свои статьи. Но ни один из русских дикторов не имел опыта в радиовещании. Наше обучение началось в ноябре 1946 года, а первые передачи должны были выйти в эфир буквально через несколько месяцев. Нашим режиссером и инструктором был некий Эдвард Ракелло, очень интересный венгр, говорящий по-русски. Называя женщин «милочка» или «дорогуша », он посвящал нас в тайны ремесла. «Не ораторствуйте, не думайте, что вы произносите речь перед целым континентом, — учил он нас. — Обращайтесь к человеку, который сидит один и слушает радио. Говорите задушевно».

Мне поручили открывать и заканчивать вечернюю программу. У меня хорошо получалось начало, когда я естественно и живо произносила: «Слушайте "Голос Америки"», но заключительное «до следующей встречи в эфире» не отвечало требованиям господина Ракелло. С его точки зрения, я произносила это недостаточно тепло и задушевно. «Милочка, — умолял он меня, — вы замужняя женщина, думайте о вашем муже... Говорите так, как вы говорите в спальне!»

Я ужасно смущалась, очень старалась, но никак не могла произнести эти слова достаточно обольстительно.

«Нехорошо, нехорошо, — повторял он. — Вы должны говорить это так, чтобы русский слушатель не спал всю ночь, ожидая вашего возвращения!»

Я старалась изо всех сил, пока он не сказал: «О'кей, милочка. Это неплохо. Попрактикуйтесь дома».

Нашим начальником был Николай Набоков, музыковед и композитор с минимальным административным опытом. Он был высококультурным человеком, происходил из известной русской семьи и прежде жил в Париже. В редакции говорили, будто отдел кадров «Голоса Америки» хотел предложить это место Владимиру Набокову, писателю, но каким-то образом получили не того Набокова. Николай, двоюродный брат Владимира, был очаровательным, но совершенно беспомощным в бюрократических лабиринтах Государственного департамента. Те из нас, кого наняли обычным путем через отдел кадров, вскоре обнаружили вокруг себя странных, неизвестно откуда взявшихся личностей. Они оказались друзьями Набокова, которым он пообещал работу.

Однажды Набоков подошел ко мне и сказал: «Извините меня, госпожа Бейтс, но я пообещал ваше место моей первой жене,

Наталье Шаховской. Сейчас она продает шляпы в магазине "Бергдорф-Гудман", и, конечно, вы понимаете, ей нужна другая работа. Так что, если вы не возражаете, я бы хотел, чтобы вы уволились».

Я остолбенела. Он обращается со мной, подумала я, как с крепостной девкой своего поместья! Но я теперь американка, со своими правами!

Я повернулась к нему и сказала: «Я иду в отдел кадров прямо сейчас, пусть там разберутся».

Он чрезвычайно удивился и явно не понял, почему не получается так, как он задумал. Когда начальник отдела кадров услышал об этом, он возмутился и пообещал все уладить. Мне же он сказал: «Не беспокойтесь, миссис Бейтс, никто вас не уволит».

Воодушевленная, я вернулась к своему столу и сообщила Набокову, что уходить я не собираюсь. Ему потом сказали, что единственный путь меня уволить — это доказать мою некомпетентность. И он попытался это сделать. Он поручил мне написать текст о Марте Грэхем, считая, что ни один русский эмигрант из Китая никогда о ней не слышал. Но я вложила много труда в этот текст, и он был одобрен редакторами.

Набоков вскоре ушел из «Голоса Америки», однако его бывшую жену Наталью приняли на должность сценариста и отвели ей стол рядом с моим.

Я была молода и очень общительна, у меня было много друзей. Я подолгу говорила по телефону, болтая с разными приятелями и поклонниками. Часто я проводила время с друзьями в коридоре. Наконец однажды Наталья Шаховская спросила: «Вы раньше где-нибудь работали?» Я ответила, что это моя первая «настоящая» работа в Америке.

«Вот что, — предупредила она, — вы явно не знаете разницы между вашей гостиной и учреждением. Это рабочее место, а не увеселительное заведение. Ведь вам бы не хотелось, чтобы другие считали вас плохо воспитанной, и уж во всяком случае вам бы не хотелось заслужить дурную репутацию и рисковать своей работой? Почему бы вам просто не ходить иногда обедать со своими друзьями? Именно так общаются работающие люди».

Я была очень смущена и глубоко благодарна за ее откровенность. Мы подружились, и скоро я стала образцовым работником и коллегой, удалив свою частную жизнь от рабочего места. «Голос Америки» располагался на углу 57-й улицы и Бродвея, и несколько раз в неделю мои знакомые приглашали меня на длинные уютные обеды в «Русскую чайную» в одном квартале от нашей конторы.

Нашим следующим директором стал кадровый дипломат

Государственного департамента Чарльз Тейер. Он был талантливым писателем, немного эксцентричным, но очень серьезно относившимся к задачам русского вещания «Голоса Америки». Он понимал силу «радиодипломатии» в борьбе с пропагандистской войной, которую вел Советский Союз. Он также знал нравственное отвращение своих соотечественников к слову «пропаганда», употребляемому по отношению к американскому радиовещанию: в этом видели что-то бесчестное и недостойное правительства «джентльменов». Тейер рассказывал нам, как государственный секретарь Генри Стимсон протестовал против практики расшифровки кодов, потому что «джентльмены не читают чужую почту». Он не боялся бороться с Конгрессом за дополнительные ассигнования и не сдавался, встречая с их стороны непонимание его миссии в «борьбе за человеческие умы».

В те ранние годы «Голос Америки» пытался давать полную и непредвзятую картину жизни в Соединенных Штатах, не избегая и признания слабых мест и недостатков. Прямой критики или нападок на советскую систему не допускалось. Все-таки совсем недавно они были нашими союзниками. Но по мере усиления «холодной войны» «Голос Америки» стал платить той же монетой: передачи начали открыто и резко критиковать советскую систему и правительство.

Я проработала на «Голосе Америки» почти четыре года. Начала я с перевода новостей, потом стала писать очерки, а позже мне поручили вести американскую музыкальную программу о джазе. До того я мало знала о джазе, но теперь мне пришлось много читать и изучать его историю. Я старалась всегда представлять музыку в культурном контексте. Очень скоро мне стали делать замечания за «излишнюю серьезность», не требующуюся «диск-жокею»! Американское посольство в Москве жаловалось, что оно хочет танцевать, а не получать музыкальное образование. Я вернулась в отдел новостей.

Работа на «Голосе Америки» опять свела меня с русскоязычной общиной. Я встретила эмигрантов из Парижа, Берлина, Праги, многие были перебежчиками, или невозвращенцами, или беженцами от недавней войны, которые попали в немецкий плен и были освобождены союзниками. Это сообщество было раздираемо интригами и соперничеством.

Борис Николаевский, известный старый меньшевик, появлялся с текстом, в котором продолжал спорить с Лениным или каким-нибудь другим большевиком. Их споры, давние и уже почти всеми забытые, были еще свежи в его памяти. Его огромная фигура склонялась над столом редактора, он уговаривал принять текст как материал «первостепенный».

Владимир Мансветов, один из наших редакторов, эмигрант из Чехословакии, сын известного эсера, старался держаться с подчеркнутым цинизмом. Он с явным удовольствием смягчал страстные высказывания авторов, вычеркивал половину прилагательных и наставлял: «Не принимай все так близко к сердцу, дорогой! Зачем эмоции? Это всего-навсего пятиминутная передача об американском сельском хозяйстве».

Приходили безработные русские актеры пробоваться на дикторов. К отчаянию мистера Ракелло, они читали новости в лучших традициях Московского художественного театра. «Боже мой, — стонал он, — это же не Чехов! Вы читаете отчет Конгресса о дорожном строительстве!»

Кира Славина была поэтессой, она отказалась от лучшей авторской вакансии, потому что не хотела быть связанной сроками, и предпочла работу машинистки.

Александр Фрэнкли, эмигрант из Парижа, человек большой эрудиции, с безупречными манерами, был незаменим в кризисных ситуациях, возникающих в русском отделе. Миротворец, он успокаивал оскорбленные чувства и указывал, что интересы нашей страны, Америки, должны перевешивать наши мелкие ссоры.

К счастью, я оставалась в стороне от этих баталий: вне офиса у меня была американская семья, и моя жизнь очень отличалась от их эмигрантской жизни.

Все же благодаря знакомствам и встречам на «Голосе Америки» моя светская жизнь стала богаче и разнообразнее. К частым посещениям «Русской чайной» прибавились вечеринки в офисе и вечера у коллег дома, куда меня тоже приглашали. Иногда приглашали одну меня, без мужа, но я все равно соглашалась. Я прекрасно проводила там время и флиртовала с эффектными молодыми продюсерами, многие из которых подвизались актерами, радуясь хоть какой-то постоянной работе. Было так приятно... Никаких душераздирающих русских восклицаний типа: «Я не могу без тебя жить...» Какое облегчение! Ухаживавшие за мной американцы просто приятно проводили время, создавая себе и другим хорошее настроение.

В первый год деятельности русский отдел «Голоса Америки» пользовался повышенным вниманием американской прессы. У нас часто брали интервью и фотографировали для крупных газет и журналов. Моя фотография появилась на первой странице газеты «Нью-Йорк Геральд Три-бюн », в журнале «Нью-Йоркер » обо мне очень лестно отозвались, и мой портрет был помещен на обложке журнала «Патфайндер». Об этом журнале я раньше ничего не слышала, но, видимо, он имел довольно большую

читательскую аудиторию, потому что я получила поздравительную телеграмму от государственного секретаря Дина Ачисона и предложение от одного из читателей «Патфайндера», двадцатишестилетнего фермера, выйти за него замуж. Он писал, что живет с матерью на собственной ферме, и спрашивал, не устала ли я от жизни в большом городе и не хочу ли насладиться тихой жизнью на его ферме в штате Айова. Всем очень понравилась эта история.

* * *

Я начала замечать, что такие люди, как фон Гроника и Уоссоны, начали обращаться со мной по-другому. Во мне видели уже не иммигрантку, пытающуюся куда-нибудь устроиться, а интересную и успешную женщину.

Скоро, однако, стало очевидно, что мой брак шатается. На радио у меня не было определенного расписания, иногда я работала вечером и даже ночью. Ребенка дома у нас больше не было, и мы были свободны в своем распорядке жизни. Когда я работала по ночам, Эйба дома тоже не было. Когда я спросила его, где он проводит ночи, он что-то уклончиво отвечал, а потом признался, что да, он «встречается» с какой-то женщиной, с которой познакомился на работе. Он заверил меня, что ничего серьезного между ними нет и что он по-прежнему меня любит.

Хотя большинство наших друзей продолжали считать нас счастливой супружеской парой, в наши отношения закралась странная неловкость. Натали жила в школе, мы остались вдвоем и вдруг обнаружили, что за семь лет, посвященных воспитанию ребенка, что-то исчезло. Мы изменились и теперь, став другими, не знали, как ликвидировать разрыв между нами. Эта неловкость пропадала, когда мы занимались любовью, но как только мы вылезали из постели, она возвращалась. В тот год мы часто устраивали званые вечера, и это бывало весело. С друзьями мы ездили в театр или в кино, и это тоже было весело. Невесело было оставаться наедине друг с другом.

Мне иногда кажется, что если бы мы могли увлечься каким-нибудь комическим или драматическим телевизионным сериалом, мы бы «выдержали бурю». Сегодня многие пары как раз этим и спасаются. Но, предоставленные сами себе, мы не смогли спасти свой утративший новизну брак. Мысль о разводе мне в голову не приходила, но я понимала, что, вероятно, пытаться и дальше стремиться к «супружескому согласию» бесполезно. Отложив всякие решения на «потом», я записалась на занятия йогой.

Эти занятия оказались курсом физической реабилитации, но помогло это и моему душевному состоянию. Я научилась сидеть

на тазовых костях, ходить, двигая ногами от бедра, балансируя головой на верхушке позвоночника, держа туловище очень прямо. Это было очень интересно. Преподавательницей была немка, беженка из Берлина, хорошо образованная, тонкая и опытная женщина, которая изменила мою жизнь за первые же четыре или пять уроков. Она же порекомендовала мне своего психоаналитика. «Вас сдерживает что-то еще, кроме физического состояния», — сказала она мне, и была права.

По обычным меркам, я справлялась с жизнью вполне хорошо — у меня были семья, работа, много друзей, но только я одна знала, каких это мне стоит усилий. Я знала, что мне нужен кто-то, кто поможет мне разобраться с накопившимися за все эти годы внутренними переживаниями. Я читала Фрейда, была под впечатлением его идей и решила пуститься в рискованное путешествие в поисках самой себя.

Доктор Уолтер Клуге тоже был из Берлина. Он начал работать над моей «внутренней настройкой». Он освободил меня от постоянных грез и поместил в реальный мир.

Это было большим облегчением, большой радостью — полностью принять реальность.

Доктор Клуге был фрейдистом и даже посещал сеансы психоанализа самого Фрейда. Он неохотно согласился принимать меня три раза в неделю вместо обычных ежедневных сеансов, но велел самой заниматься между визитами. В течение часа каждый день я записывала на бумаге свои «свободные ассоциации». Я искренне увлеклась психоанализом, очень старалась и более трех лет ходила к доктору Клуге. На этом пути самопознания я боролась с драконами, охраняющими ворота моей памяти, и встречалась лицом к лицу с воспоминаниями, которые я хотела бы забыть. Я выносила приступы острой боли и отчаяния, переживая вновь некоторые моменты моей жизни, Гражданскую войну и детские страхи, что меня бросят, воевала с силами добра и зла за свою бессмертную душу, но в результате я дошла до конца, став более усовершенствованным вариантом своего прежнего «я».

Главная перемена заключалась в принятии себя такой, как есть, в отказе от воображаемого идеала. Я также поняла, что переросла свой брак с Эйбом и что долго мы вместе не останемся. Я хотела сохранить семью ради Натали, пока она достаточно не подрастет, чтобы понять и не получить травмы из-за нашего развода. Эйб не возражал против моего посещения психоаналитика. Мы обсуждали это и даже думали, что психоанализ может помочь улучшить нашу супружескую жизнь. К тому моменту мы оба уже признали, что с нашими отношениями

что-то серьезно не в порядке.

«Пусть у нас будет "современный брак", — предложил Эйб. — Пусть мы будем свободны делать что хотим, идти каждый своей дорогой иногда, но останемся семьей... Никакого развода».

Я согласилась. Ведь я и так уже вела независимую от него жизнь. Я знала, что он встречается с другими женщинами. Он объяснил, что это часть нашего «современного брака ». У меня тоже был недолгий «роман », но я прекратила его, как только он начал перерождаться во что-то серьезное. Эйб и я виделись все реже, но оставались друзьями. Потом у него произошло неизбежное: серьезные отношения с молодой женщиной, настаивавшей на браке. Через какое-то время Эйб попросил у меня развод.

Как ни странно, его просьба меня больно ранила. Я знала, что и ему это больно. Мы попали в западню, которую поставили себе сами. «Современный брак» совсем не обязательно спасает от развода.

В 1940-х годах консультативная помощь по вопросам семьи и брака еще не была так популярна и развита, как теперь. Сегодня такие программы, как «Предупредительные меры и оздоровление отношений», нередко помогают сохранять браки. «Семьям нужна постоянная поддержка», — написано в брошюре другой подобной программы. «Новому», или «свободному», браку, как его теперь называют, тоже уделяют много внимания. Но количество разводов тем не менее неизменно растет.

Натали была счастлива в школе, счастлива видеть нас, когда мы ее навещали, и с радостью ехала домой на каникулы. Я вся сжималась от мысли, что мы причиним ей боль. Когда мы трое наконец сели и приступили к неизбежному разговору о разводе, мы все вместе плакали. Нам всем было плохо и больно, но изменить ничего мы уже не могли. Теперь необходимо было избежать лишних страданий, и мы попытались сделать именно это.

Натали знала, что такое развод: большинство детей в ее школе имели по две пары родителей, разведенных и вступивших в новый брак отцов и матерей. Она была исключением, однако перспектива стать как все ее не очень радовала. Впрочем, она понимала, что значит полюбить и разлюбить; в первый раз она влюбилась в трехлетнем возрасте. Объектом ее увлечения был «мужчина старше нее», семи лет.

Мы жили в летнем доме на севере штата Нью-Йорк вместе с еще двумя семьями, в каждой был ребенок: Джордж и Анна, оба семилетние. Джордж и Натали вставали рано и играли вместе каждое утро, пока не появлялась Анна. При виде Анны Джордж

бросал Натали и больше ее не замечал до конца дня. Как-то я услышала, что Натали сказала: «Лучше бы я никогда с тобой не встречалась!»

Конечно, полюбить и разлюбить можно, но это не должно относиться к родителям. Она очень старалась как-то наладить мои с Эйбом отношения, но, когда наконец смирилась с ситуацией, вела себя замечательно. В какой-то момент Эйб решил отказаться от развода, но к тому времени я уже решила, что так будет лучше. Я только хотела найти для этого подходящее время. Довольно скоро какими-то неисповедимыми путями все встало на свои места.

ГЛАВА 10 Сергей Якобсон

Я познакомилась с Сергеем Якобсоном на рождественской вечеринке у Тины Уоссон в 1949 году. Высокий, элегантный вдовец с тринадцатилетним сыном, он работал в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне руководителем отдела иностранных дел Законодательного управления Конгресса. Он родился и вырос в Москве, но считал себя берлинцем: ему было семнадцать лет в 1918 году, когда его семья переехала в Берлин после большевистского переворота. Я была знакома с его старшим братом Романом, профессором Колумбийского университета. Он был одним из рецензентов учебника русского языка, который я готовила вместе с Андре фон Гроника, еще до выхода в свет. Роман и его жена Сватя гостили у Уоссонов в эти праздники, и на следующее утро Сватя мне позвонила и сказала, что Сергей обо мне расспрашивал после того, как я уехала на другую вечеринку, и очень огорчился, узнав, что я замужем.

Это, однако, не помешало Сергею позвонить мне и пригласить меня пообедать с ним на следующий день. Я подумала: «Почему нет?» Роман имел репутацию волокиты, но о Сергее я ничего не знала, мы просто пошли в «Русскую чайную», недалеко от «Голоса Америки».

Это был очень приятный обед. Сергей говорил о своей работе и о сыне Денисе, мать которого, первая жена Сергея, умерла при родах. Он проводил меня до моей работы и в тот же день вернулся в Вашингтон.

«Какой интересный и культурный человек, — думала я, — жаль, что он живет не в Нью-Йорке». Он позвонил на следующий вечер, чтобы поблагодарить меня за то, что согласилась с ним пообедать, и попросил принять от него маленький подарок — пару теплых перчаток: провожая меня после обеда, он заметил, что я без перчаток и мои руки мерзнут.

Тронутая этой неожиданной заботой, я позвонила ему, когда получила по почте его подарок. Никогда я не видела таких великолепных, дорогих, подбитых мехом кожаных перчаток! В них было действительно очень тепло.

Через несколько дней Сергей позвонил и сообщил, что приезжает в Нью-Йорк на уик-энд. Не могу ли я поужинать с ним в субботу и пообедать в воскресенье? Я начала понимать, что Сергей решил серьезно за мной ухаживать, и приняла оба приглашения. Почему бы не завести «роман» с очаровательным, культурным, хорошо воспитанным мужчиной?

Эйб был обрадован, услышав о Сергее. «Иди, иди. Он вдовец,

он наверняка хочет на тебе жениться. А если он тебе нравится, так еще лучше: мы можем начать оформлять развод».

«Не так быстро, — запротестовала я. — Я только что его встретила... это всего-навсего приглашение в ресторан!»

Но Эйб оказался прав. Во время ужина в дорогом манхэттенском ресторане Сергей был ко мне очень внимателен. Он отвез меня домой на такси, поцеловал обе руки при прощании, а во время обеда на следующий день сделал мне предложение. Очень формально, очень корректно он сказал, что полюбил меня, что я именно та женщина, которую он ждал все эти одинокие годы вдовства. Ему сорок восемь лет, у него хорошая работа в Вашингтоне, он может обеспечить мне и моей дочери достойный дом и достойную жизнь. И Сергей попросил меня серьезно подумать над его предложением. Он также смел надеяться, что я отвечу взаимностью и с радостью разделю с ним свою жизнь.

Все это было сказано спокойно, но проникновенным голосом, без взрывов страсти и отчаянных криков «Ах, я тебя люблю!». Это было самое обстоятельное предложение брака из девяти, которые мне делали в течение моей жизни. Тем не менее...

«Но я замужем», — сказала я. Он посмотрел на меня и спросил: «Но любите ли вы своего мужа?» Что я могла сказать? Счастливые замужние женщины не принимают приглашения на обед от одиноких мужчин, с которыми они познакомились на вечеринке. «У нас "современный брак", — смело ответила я. — Мой муж и я — друзья, и мы семья ».

«А ваш муж действительно вас любит? — продолжал Сергей. — Вам нравится такая жизнь?»

Я начала чувствовать себя неловко. Сказать ему правду значило бы поощрить его ухаживания, дать ему надежду. Я находила Сергея очень привлекательным, но это становилось уж как-то слишком серьезно. Я произнесла обычные банальные фразы: я очень польщена его предложением, он очень интересный и очаровательный мужчина, но... я совсем не несчастлива в своем браке.

Сергей, вероятно, ожидал услышать нечто подобное. Хотя он выглядел разочарованным, он явно был готов к долгой осаде и уже почти выработал стратегию ухаживания за мной.

«Все, о чем я прошу сейчас, — сказал он, — это чтобы вы серьезно обдумали мое предложение. Можете мне это пообещать?»

«Да, я обещаю», — ответила я.

«Я очень благодарен. Я знаю, что вы не только красивая, но и очень великодушная и отзывчивая женщина», — сказал Сергей. Я не ожидала такой реакции.

По дороге обратно в «Голос Америки» мы говорили о вашингтонской политике, о моей дочери и о том, как ему хотелось бы с ней познакомиться. Я испытала облегчение, почувствовав, что никакого давления нет — казалось, он просто радовался тому, что он со мной. Когда мы прощались, Сергей попросил разрешения позвонить мне через пару дней. «Конечно», — ответила я.

Я получила красивый шелковый шарф из модного магазина с нежной запиской, вложенной в пакет. Сергей звонил из Вашингтона три-четыре раза в неделю: «Просто хотел услышать ваш чудесный голос... Расскажите, что вы делали сегодня».

«Это очень умный человек, — заметил Эйб. — Он ухаживает за тобой старомодным образом, вы оба русские, так что, я думаю, это даже лучше».

И действительно, мы оба были очень русские. Хотя Сергей стал гражданином Германии, а я думала, что стала настоящей американкой, наши корни уходили глубоко в русскую культуру. Когда мы были вместе, мы чувствовали себя «дома», на знакомой почве, образованной детским воспитанием и русской школой. Сергей избежал травм Гражданской войны и жизни при советской власти, но мы оба знали, что такое пережить социальную дезориентацию, потерю привычной комфортабельной жизни и определиться в новых условиях новой страны.

Шли недели, и я все глубже вовлекалась в эту игру Сергея в погоню и завоевание. Я все больше узнавала о его семье. Отец Сергея, Осип (Иосиф) Якобсон, происходил из маленького еврейского местечка в Западной России. Он переехал в соседний город в возрасте пятнадцати лет, чтобы поступить в русскую гимназию, жил в семье русского купца и учил его детей в обмен на стол и кров. Оттуда он поехал в Ригу, поступил в Рижский политехнический институт и закончил его с дипломом инженера-химика. Ему предложили работу на одном из крупных промышленных предприятий около Москвы, но вскоре он основал собственное дело. Он открыл небольшую контору по экспорту-импорту в Москве, торгуя чаем и продовольственными товарами, привезенными с Востока.

В это время Москва открывала перед предприимчивыми и энергичными людьми широкие перспективы. Осип скоро стал купцом первой гильдии и расширил свое дело. Он женился на Анне Вольперт, которую встретил в Риге во время одной из своих поездок туда. Она происходила из семьи купца, немецкого еврея, знала русский и была женщиной умной и строгих правил. Они поселились в Москве в большом доме, где располагались и конторы, и жилые помещения.

У Якобсонов было три сына. Роман, первенец, был всегда любимцем матери и оставался им до ее смерти. Сергей родился четыре года спустя и вырос в тени своего блестящего старшего брата. Младший, Михаил, впоследствии погиб во время немецкой оккупации Франции.

Несмотря на значительное богатство семьи, как рассказывал мне Сергей, детей не баловали: им давали еженедельно небольшую сумму карманных денег, на которые они покупали билеты в театр и на каток. Это должно было научить их знать цену деньгам, но не научило. И Роман, и Сергей абсолютно не интересовались деньгами и не умели и не хотели их считать. Они засовывали в карман мелочь вместе с купюрами высшего достоинства и никогда не знали, сколько у них денег или сколько они потратили.

Семья Якобсонов в Москве вела спокойную зажиточную жизнь. У них были повар, горничная и немецкая гувернантка. Мальчиков учили музыке и танцам, чего требовал тогдашний этикет. Лето проводили в деревне, неподалеку от Москвы, чтобы Осип мог приезжать в свободные от работы дни. Это было беззаботное время катания на велосипедах, игры в теннис и визитов к соседям. Больше всего Сергей винил революцию в том, что она лишила его радостей тенниса.

Романа и Сергея учили сначала дома, а потом записали в частную гимназию для мальчиков — Лазаревский институт восточных языков, основанный армянским купцом для детей национальных меньшинств. Когда Сергей поступил в школу, он был единственным неармянином в классе. Хотя «Отче наш» читали по-армянски, Сергей получил основательное традиционное русское образование. Их мать считала, что ее мальчики должны учиться только на пятерки, и они легко справлялись с этой задачей.

По мере углубления наших отношений я узнавала все больше о его детстве и юности. Вся семья регулярно ходила в московские театры, оперу и на концерты. Родители устраивали вечера с игрой в карты со своими друзьями, в числе которых был московский юрист Юрий Каган, чьи дочери, Лиля и Эльза, стали потом возлюбленными двух знаменитых поэтов — Владимира Маяковского в Москве и Луи Арагона в Париже. Сергей показал мне старую фотографию, где изображена группа нарядно одетых детей, торжественно позирующих фотографу вместе с мамами и гувернантками. Уже видны были их характеры: Лиля очень строгая, с большим самообладанием, хорошенькая и своенравная Эльза и серьезные мальчики Якобсоны, Роман и Сергей.

Довольно рано, еще подростком, Роман стал участвовать в

жизни авангардной московской молодежи. Много позже, когда я стала делиться с матерью Сергея своим беспокойством по поводу поведения Дениса, она прервала меня и сказала: «Дорогая, ваши проблемы не идут ни в какое сравнение с тем, что пережила я, когда Роман был в этом возрасте. Однажды друзья позвонили мне и сказали, что Роман гуляет по Красной площади, раскрасив лицо в ярко-желтый цвет! Какой позор для семьи уважаемого коммерсанта!»

В молодости Роман писал стихи, потом подружился с Владимиром Маяковским, и они оба стали членами дружеского кружка, образовавшегося вокруг Лили и Эльзы. Роман учился в Московском университете, изучал филологию. Деловые друзья его отца подшучивали, что Осип Якобсон, должно быть, действительно очень богат, раз может позволить себе роскошь дать сыну возможность изучать такой ни к чему не пригодный предмет. Но когда разразилась революция, было уже неважно, кто что изучал.

Сергей успел закончить Лазаревский институт до того, как семья, потеряв все нажитое, бежала из большевистской России. Они поселились в Берлине, а Роман оставался в России до 1924 года, потом преподавал в Пражском университете, а перед Второй мировой войной переехал в США.

Когда я впервые встретила Романа, он преподавал в аспирантуре Колумбийского университета на кафедре чешского языка, но очень скоро перебрался в Гарвард, где стал профессором на кафедре славянских языков и литератур, а также преподавал лингвистику. Потом он добавил к этому послужному списку статус профессора Института общей лингвистики Массачусетского технологического института. Роман был неутомим в погоне за степенями и наградами. Ко времени своей смерти он получил двадцать шесть почетных степеней в университетах, разбросанных по всему миру. И он их заслужил — он внес существенный вклад в самые разные области знания. Романа считают отцом-основателем Пражской лингвистической школы, его новаторские исследования природы языка революционизировали изучение лингвистики и технику связи. Он основал также Американскую школу лингвистики.

Для многих русских эмигрантов Берлин был первой остановкой на долгом пути изгнания. Для Якобсонов травма этого переезда была смягчена тем, что у них сохранялись связи с немецкой семьей Анны, члены которой когда-то часто навещали Анну в Москве. Хотя огромное состояние Осипа пропало, сам он смог начать все сначала, возобновив свои старые берлинские деловые связи.

В 1920-х годах Берлин был оживленным центром авангардного искусства, литературы и музыки, и русские изгнанники внесли в это свой вклад. Советские границы еще не были наглухо закрыты, и многие русские знаменитости, еще не решившие, эмигрировать им или оставаться в России, ездили в Германию и обратно. Борис Пастернак, Илья Эренбург, Андрей Белый, Василий Кандинский и многие другие никак не могли определиться, что им делать дальше, где жить. Одни в конце концов вернулись домой, другие остались за границей. В то время русский Берлин собрал целое созвездие талантов. Работали издательства, писательские клубы, политические организации, художественные галереи, балетные труппы, три русских театра и множество ночных клубов. Выходило сорок русских журналов, а русское издательство «Петрополис» выпустило больше тысячи книг.

Сергей активно включился в эту бурную культурную жизнь. Он учился в Берлинском университете и подрабатывал тем, что писал и продавал статьи в журналы на любые темы: от «Как правильно играть на скрипке» до «Как устроить Вашу кухню». Роясь в книжных магазинах, он нашел и позже опубликовал несколько важных писем Пушкина, Аксакова, Тютчева и Толстого. Он встречался с высланными из советской России философами, такими как Семен Франк и Николай Бердяев, а в Русском институте слушал лекции известных историков Мельгунова и Кизе-веттера.

Сергей женился на своей первой жене, Любе, после получения докторской степени по европейской истории. Семья Любы не приветствовала этот брак с молодым интеллигентом без постоянной работы в такие неопределенные времена, но он скоро стал писать статьи для «Детской энциклопедии», выпускаемой в Лейпциге. Работой этой он занимался недолго. Приход к власти Гитлера, которого сначала не принимали всерьез, обернулся в начале 1930-х годов настоящим бедствием. Сергей решил, что из Германии пора уезжать...

...Вооруженные рекомендательными письмами к ведущим английским историкам Тойнби, Гучу и Пейресу, молодые супруги эмигрировали в Англию. Было трудно. Языка они не знали. Сергей вынужден был говорить с пограничником по-немецки. «Я знаю только несколько слов по-английски, — сообщил он ему. — Когда мы играли в теннис, мы считали по-английски; а кроме того, могу сказать: love, twenty, forty, deuce... »[18]

Пограничник посмотрел на него: «Где это вы играли в теннис?» Сергей ответил: «В России».

«В России? — переспросил тот. — Мы приветствуем вас в

нашей стране! Пожалуйста, проходите». Любой человек, игравший в теннис в России, непременно должен был быть джентльменом и потому имел полное право въехать в старую добрую Англию.

Благодаря привезенным рекомендательным письмам Сергею предложили прочитать лекцию в Королевском колледже, конечно, по-английски. Эту первую свою публичную лекцию он читал по бумаге, в которой все слова были написаны фонетической транскрипцией и текст был тщательно отрепетирован с одним английским школьником. Видимо, выступление получилось удачным, потому что его назначили почетным лектором по русской истории в Лондонском университете, а также главным библиотекарем в Школе славянских и восточно-европейских языков.

Через семь лет работы в Лондонском университете Сергей стал страстным англофилом и оставался им до конца своих дней. Когда началась Вторая мировая война, Сергея, как человека с немецким гражданством, занесли в списки «граждан неприятельского государства». К тому времени Люба умерла от родов, он остался один, ему грозил лагерь для интернированных, и, последовав совету друзей, он решил переехать в США. Сергей приехал в Нью-Йорк в 1941 году, привезя с собой более шестидесяти рекомендательных писем. Доктор Генри Филд, антрополог, основатель знаменитого Чикагского музея антропологии, был адресатом одного из них, и с его помощью Сергей скоро стал работать над специальным, тогда секретным, проектом Белого дома: они готовили серию исследований на тему «Миграция и расселение» в мировом масштабе, чтобы помочь устроиться миллионам людей, разбросанных войной и не имеющих возможности после ее окончания вернуться на родину. Потом его пригласили в Библиотеку Конгресса, где он вскоре стал старшим специалистом по русским делам в Исследовательской службе Конгресса, а потом — заведующим Славянским и Восточно-европейским отделом Библиотеки.

Наступил момент, когда Сергей пригласил меня приехать посмотреть Вашингтон. «Вам будет очень интересно », — сказал он. Эйб уговаривал меня согласиться, и я согласилась. Я приехала в Вашингтон во второй половине дня в субботу. Сергей встретил меня на вокзале и отвез в отель «Хей-Адамс», элегантное старомодное заведение недалеко от Лафайет-сквер, практически напротив Белого дома. Мне показалось, что я опять попала в потерянный мир России моих родителей и колониального Британского Китая. Это было восхитительно, не говоря уже о том, как приятно было попасть туда в сопровождении такого

«шикарного господина», как Сергей. «Я оставлю вас отдохнуть после поездки, — сказал Сергей, — и зайду за вами в семь часов».

Он пришел ровно в семь и повел меня ужинать в клуб «Космос», элитарное заведение, членами которого до недавнего времени могли быть только мужчины. Тогда клуб находился в небольшом доме на Лафайет-сквер, залы были выдержаны в старом английском стиле, в каждом был камин, глубокие кожаные стулья, а на стенах висели старинные картины. Мы пили херес у камина в одном из залов, и несколько представительного вида мужчин, проходя мимо, останавливались около нас и здоровались с Сергеем, который представлял им меня. Ужинали мы при свечах, и к концу вечера я была покорена.

Теперь я понимаю, что Сергей правильно почувствовал, что внутри самоуверенной американки жила русская эмигрантская девочка, все еще надеющаяся занять подобающее ей место в обществе. И еще: хотя я уже была больше десяти лет замужем и имела дочь, я оставалась неопытной женщиной. «Замужем за американцем! — наверняка думал Сергей. — Что она может знать о сексе?» Как большинство европейских мужчин, Сергей был невысокого, мнения об американцах как любовниках. Сергей пленил меня как опытный мужчина, позволивший мне почувствовать себя не только желанной, но и любимой и окруженной заботой.

На следующее утро я проснулась в чудесной комнате отеля с ощущением легкости и счастья. Сергей должен был зайти за мной только в одиннадцать часов, поэтому я осталась в постели, теплой и уютной, вспоминая удовольствия предыдущего вечера. Как я могла бы прекрасно жить, выйдя замуж за Сергея! Я бы стала частью этого вашингтонского мира, отеля «Хей-Адамс» и клуба «Космос»... Около половины одиннадцатого зазвонил телефон, и я услышала бодрый голос Сергея: «Доброе утро! Вы хорошо спали? Вы готовы встретиться через час?» Я была готова.

Сергей, гладко выбритый, пахнущий каким-то восхитительным мужским одеколоном, ждал меня в вестибюле. Он поцеловал мне руку и повел к своей машине. «Я немного покажу вам Вашингтон, а потом мы поедем обедать в одно славное место в Виргинии», — сказал он.

Он был весел, беззаботен, в приподнятом настроении. Мы кружили по почти пустым городским улицам. Вашингтон легко нравится, особенно после Нью-Йорка, — деревья, большие пространства, открытое небо, дома не выше шести или восьми этажей (в то время). Мне было все равно, какое здание — Министерство внутренних дел, а какое — сельского хозяйства. Я получала удовольствие от того, что смотрела на Сергея. Он и

виды Вашингтона как-то очень гармонично сочетались. Удивительное дело, говорила я себе, я начинаю влюбляться в этого человека! И как приятно, что он меня тоже любит!

«Славное место» в Виргинии оказалось величественным особняком в стиле старого американского Юга с безупречным обслуживанием и великолепной едой. Сергей был очень внимателен и занимал меня интересным разговором. Ни о чем серьезном мы не говорили — ни о предложении выйти за него замуж, ни о планах на будущее, ни о знакомстве с его родителями. Сергей говорил о своей жизни в Москве, и мы сравнивали его воспоминания с моими. Оказалось, что мы катались на коньках в одном и том же парке! На вашингтонском небе не было ни облачка.

Я уезжала в Нью-Йорк вечером. Мы вернулись в город далеко за полдень и скоро уже были на вокзале и прощались друг с другом. «Мы увидимся в следующий уик-энд в Нью-Йорке, — сказал Сергей. — Если вы собираетесь к дочери, я бы хотел поехать с вами. И мне бы хотелось встретиться с вашим мужем. Можно это устроить?»

Как сквозь туман, я ответила, что «да, конечно, это можно устроить». Последний поцелуй, и поезд тронулся. Оставшись одна, я вышла из эйфории и попыталась проанализировать свое состояние. Посмотрим, что происходит: что ты знаешь о нем, что он знает о тебе, что у вас общего? Выходят ли замуж только потому, что мужчина очарователен и хорошо с тобой обращается? Но кто сказал, что я выхожу за него замуж? Я просто приятно провожу время с приятным человеком. «Ты так утверждаешь, но ты прекрасно знаешь, что у него-то другие планы!» — говорил мой внутренний голос. «Я объясню ему мое отношение», — настаивала я. «Посмотрим, — сказал внутренний голос. — Но потом не жалуйся, что тебя не предупредили! »

Эйб был в восторге от моего описания поездки в Вашингтон. «Конечно, я с удовольствием познакомлюсь с Сергеем, — сказал он. — И будет даже интересно взять его с нами к Натали. И я хочу серьезно поговорить с ним о политике, мне интересно услышать, что они там в Вашингтоне думают о международной ситуации».

Из того, как радостно он ждал встречи с Сергеем, я заключила, что он уже планирует женитьбу на своей даме сердца из Балтимора. «Я еще не приняла предложение Сергея, — напомнила я ему. — И не думаю, что приму. Мы просто проведем приятный уик-энд, и все».

«Посмотрим», — с надеждой произнес Эйб.

Сергей приехал в пятницу вечером, я пришла к нему в гостиницу после работы. Мы оба очень обрадовались друг другу,

но было и что-то большее — казалось, что в наших жизнях была какая-то пустота, которая заполнилась, как только мы увидели друг друга. Мы поужинали в маленьком греческом ресторане рядом с его гостиницей и вернулись в его номер.

Наутро после завтрака Сергей сказал, что мы должны купить Натали какой-нибудь подарок. «Что бы ей хотелось?» — спросил он меня. Я не знала, и тогда мы пошли в роскошный магазин детских игрушек «Ф.А. Шварц» на Пятой авеню. «Расскажите мне о ней, — попросил Сергей. — Она любит животных?»

Натали было восемь лет, почти все ее игрушки остались дома, но она действительно обожала животных, особенно лошадей. Сергей нашел прекрасную игрушечную ферму — дом, сарай, несколько коров, овец и лошадей, собака и кот. Еще он купил три замечательных лошади — жеребца, кобылу и хорошенького жеребенка, чтобы они тоже жили на этой ферме. Каждый предмет был аккуратно завернут, и мы вышли из магазина с огромной коробкой, довольные собой. «Мне очень важно привезти вашей дочери правильный подарок, — сказал Сергей, — ведь это первый ей подарок от меня».

Мы прошли через Центральный парк в отель «Хемпшир-Хаус», где решили пообедать. После долгого приятного обеда Сергей заметил, что я устала. «Идите домой и отдохните, — сказал он. — Хорошенько выспитесь, а завтра рано утром я вам позвоню». И он со счастливым видом усадил меня с коробкой в такси. Какой замечательный, уверенный в себе человек! Как внимателен он ко мне! И совсем на меня не давит. Я пришла домой, Эйба не было, я включила радио и приняла ванну. В девять часов я уже спала и не слышала, как пришел Эйб.

Я со страхом ждала нашей поездки в «Черри-Лоун». Поладят ли мужчины? Как отреагирует Натали? И вообще, следовало ли соглашаться на такую совместную поездку? Но беспокоилась я напрасно. Эйб и Сергей прекрасно поладили, оба вели себя примерно, а Натали пришла в восторг, получив от Сергея огромную коробку, и очень искренне сказала «спасибо». Она оценила хороший вкус и правильный выбор этого чужого господина. Эйб установил ферму в ее комнате, и ее друзья сбежались посмотреть, как она по очереди разворачивала животных и радовалась каждому.

Как обычно, мы пообедали в ресторане «Говард-Джонсон», а потом гуляли по школьному парку, и Натали показала Сергею конюшню, где стояли настоящие лошади. Мы провели чудесный день, и моя дочь, казалось, приняла этого незнакомого человека.

По дороге домой мужчины погрузились в разговоры о политике, а я растянулась на заднем сиденье машины, отдыхала и

слушала. Сергей должен был уезжать в Вашингтон ранним вечерним поездом, и мы высадили его у вокзала. Эйб и я поехали домой. «Прекрасный человек, — сказал Эйб. — Да, безусловно умный и чуткий человек... Ты не согласна? »

С этим я, конечно, была согласна, но вовсе не собиралась разрешать Эйбу немедленно начинать процедуру развода. Сначала мне нужно было серьезно подумать о своей жизни. Мне казалось, что я только что по-настоящему встала на ноги: хорошая работа, никаких серьезных обязательств ни перед кем, никаких трудностей, гармоничное сочетание внутреннего мира с внешним, короче говоря — счастливая, конструктивная жизнь.

Однако я знала, что довольно скоро мне придется жить одной. Я не могла долго удерживать Эйба от развода, которого он ждал с нетерпением. У меня была дочь. Могла ли я одна обеспечить ее будущее? Не была ли я эгоистична и безответственна, думая только о своем удобстве и спокойствии, в то время как очаровательный человек с готовностью предлагал взять на себя все мои обязательства?

Но какой ценой? От чего мне придется отказаться? Я, конечно, знала ответ: от свободы. Свободы быть самой собой, жить так, как я хочу. Мне нравилась моя жизнь, как она уже устроилась, и мне не хотелось ничего менять.

Сергей позвонил тем же вечером и сказал, что Натали прелестна, очень похожа на свою мать и что ему было жаль уезжать, не поцеловав меня на прощание. Он собирался опять приехать через две недели. В смятении я решила посоветоваться с доктором Клуге, хотя больше и не была его пациенткой. «Моя дорогая, — сказал он мне, — вы должны отдавать себе отчет, что вы будете женой европейца, который притом гораздо старше вас. В таком браке от вас будут ожидать гораздо большего. За годы, что я вас знаю, вы стали независимой и уверенной в себе личностью. Вам придется измениться, приспособиться к его образу жизни. Ему не нужен друг; после одиннадцати лет вдовства ему нужна жена и мать для его мальчика. А Вашингтон не Нью-Йорк. Конечно, если вы действительно полюбили этого человека, тогда другое дело. Вам просто придется рискнуть и надеяться на лучшее».

Он был прав. Если я действительно полюбила Сергея, никакого смысла в рациональных рассуждениях не было. А я, как это ни было неудобно, кажется, действительно влюбилась. Когда Сергей приехал в Нью-Йорк, он опять вернулся к этой теме. «Как вы думаете, когда вы будете свободны и выйдете за меня замуж? — был первый его вопрос по приезде. — Я должен кое-что подготовить и освободиться от некоторых обязательств». Его

свояченица жила в его доме с тех пор, как умер ее муж, и заботилась о Денисе. «Я должен сообщить ей о моих планах. Это щекотливая ситуация».

Еще бы не щекотливая, подумала я, ведь они жили в одном доме девять лет! Конечно, это было так, но я никогда не расспрашивала Сергея, и мы ни тогда, ни позже об этом не говорили.

Я приняла предложение Сергея в этот же уик-энд, и мы были очень счастливы. Эйб тоже был счастлив и немедленно подал документы на развод. Развод оформили к лету 1950 года, и мы назначили свадьбу на 23 сентября. Эйб должен был жениться на неделю раньше нас.

В августе мы с Сергеем устроили встречу наших детей в курортном местечке в Пенсильвании, куда обычно приезжали любители верховой езды. Натали и я прибыли первыми и провели вместе несколько дней, а Сергей и Денис приехали из Вашингтона на уик-энд. К счастью, дети подружились. Четырнадцатилетний Денис был красивым мальчиком с серо-зелеными глазами и кудрявыми каштановыми волосами; мне казалось, что он больше похож на меня, чем на своего отца. Он был прекрасно воспитан и чувствовал себя непринужденно в компании взрослых незнакомых людей. Девятилетняя Натали, уверенная в себе, хорошенькая девочка, была вполне счастлива от того, что два раза в день может ездить верхом по холмистой местности Поконоса. Когда я заранее предупредила Натали, что, если я выйду замуж за Сергея, у нее появится старший брат, она посмотрела на меня с восхищением и сказала: «Я всегда хотела иметь старшего брата, но не могла придумать, как это сделать. А теперь тебе это удалось!»

Какое это было облегчение! Денису тоже понравилась идея «младшей сестры», которой он сможет помыкать. Наши американские дети были очень довольны: «типичную американскую семью» они не раз видели в кино, сами же жили в школах-интернатах; теперь они будут сами членами такой семьи! Денис явно одобрял выбор своего отца — молодая и хорошенькая мачеха отвечала всем его пожеланиям. А Натали была абсолютно уверена, что в любой ситуации она всегда будет для меня стоять на первом месте.

Они также оказались довольно практичными детьми и блюли свои интересы. Денис сказал отцу, что лучшим свадебным подарком для меня был бы большой телевизор: ему, Денису, не разрешали иметь дома телевизора.

Денис с удивлением смотрел, как его обычно серьезный и сдержанный отец смеется, шутит, играет с нами в карты и т.п.

Уик-энд удался на славу — мы сделали первые шаги на пути к тому, чтобы стать одной семьей.

Решить «щекотливую ситуацию» со свояченицей, однако, оказалось не так просто. Его матримониальные планы были ударом для нее: она явно рисовала себе иное будущее и стала настаивать, чтобы Денис остался с ней, но Денис предпочел жить с новой семьей отца. Осенью Дениса решили отослать обратно в интернат, пока мы не устроим наш дом. После нескольких бурных сцен со свояченицей Сергей выехал из дома.

Роза Эттингер, сестра первой жены Сергея, была интересной женщиной. Выросла она в России, вышла замуж за немецкого банкира и стала в Берлине душой русско-еврейско-немецкого интеллектуального кружка. Семья ее была родом из Санкт-Петербурга, где отец Розы был преуспевающим ювелиром. Она и ее две сестры получили сначала домашнее образование, а после 1917 года продолжили учебу за границей. Люба, жена Сергея, получила докторскую степень по истории во Фрайбургском университете. Старшая сестра стала врачом, вышла замуж и уехала в США, а Роза, очень образованная женщина с хорошим вкусом, вела спокойную и зажиточную жизнь в Берлине. Нацисты, получив власть в Германии, положили конец этой жизни. Роза и ее муж переехали в Палестину, где она и получила известие о трагической смерти Любы при рождении Дениса. Роза уверяла, что пообещала Любе усыновить ребенка и вырастить его как собственного сына в случае ее смерти, так как Сергей был вообще против того, чтобы обзаводиться ребенком.

Сергей не втягивал меня в эту драму, и я узнала о ней только после свадьбы. Кажется, Роза считала, что какая-то молодая авантюристка из Нью-Йорка соблазнила Сергея и разрушила счастливый дом. Я видела ее только однажды, когда мы забирали Дениса, приехавшего домой на рождественские каникулы и остановившегося на несколько дней у нее. Мне было ее жаль, и я очень обрадовалась, когда узнала потом, что она вернулась в Палестину (к тому времени уже Израиль) и стала активно участвовать в помощи русским эмигрантам, что она основала фонд, присуждавший стипендии талантливым израильским музыкантам. Роза прожила долгую и плодотворную жизнь и пользовалась всеобщим уважением и восхищением.

Сергей был свободным, завидным женихом, и, конечно, в Вашингтоне все умирали от любопытства, что это за «дама из Нью-Йорка», которая его заполучила. Я помню одну странную встречу с женщиной, вдовой, которая определенно расставляла Сергею сети и очень была удивлена, что он в них не попался. При встрече она оглядела меня с головы до ног и сказала: «Да, я вижу,

что Сергей мог влюбиться в вас... Но жениться?! — Она повернулась к Сергею и продолжила: — Я никогда вас не пойму. Я знаю, что вы меня не любили, но почему вы на мне не женились?»

Я могла бы ей объяснить, что Сергей был романтиком. Романтиком в традиционном смысле — и немецком, и русском. Практические соображения не играли никакой роли в его чувствах ко мне. Он тоже был мечтателем, как и я!

Я еще раз приезжала в Вашингтон перед свадьбой, чтобы встретиться с родителями Сергея. Они жили в маленькой квартирке в Виргинии. Сергей перевез их в Вашингтон из Франции, он был очень преданным сыном. Мы ни разу не пропустили ни одного воскресного визита к ним, пока они были живы. Когда я с ними познакомилась, им обоим было уже за восемьдесят, но мать продолжала вести хозяйство, ходила в магазины и вполне успешно со всем справлялась. Мной они очень заинтересовались. Отец взглянул на меня одобрительно и подмигнул Сергею, как бы говоря: «Мой сын поступает совершенно правильно!» Мне они оба очень понравились, и, зная историю семьи, я восхищалась тем, как они сумели приспособиться к новым, совершенно другим условиям жизни по сравнению с теми, в которых они жили, когда принадлежали к купеческому сословию.

К концу XIX века новый класс торговцев и коммерсантов — купцы — приобрел значительный вес в русском обществе. Новая русская буржуазия состояла из крестьян, освобожденных указом Александра II, обедневших дворян и иностранных, главных образом европейских, коммерсантов, осевших в России. Одни занимались торговлей, другие создавали и развивали легкую и тяжелую промышленность.

Статус купеческого сословия определяло государство, выдавая свидетельство, ежегодно возобновляемое за определенную плату; согласно объявленному размеру капитала купцы распределялись по трем гильдиям. В Москве, Петербурге и других городах открылись купеческие общества, сосредоточивались огромные капиталы, однако, как правило, купеческое сословие держалось особняком и не стремилось присоединиться к аристократии или подражать ее образу жизни. Первые русские миллионеры строили себе роскошные особняки в старорусском стиле и соблюдали старинные обычаи, унаследованные от родителей. Благодаря крепнущему и быстро развивающемуся купечеству Россия пережила период быстрого экономического роста, и к XX веку купцы и их дети немало сделали уже и для русской культуры. Московская частная русская

опера была основана московской купеческой семьей Мамонтовых, купцы Третьяковы собрали огромную коллекцию произведений русского искусства, позднее переданную ими городу Москве (ныне — знаменитая Третьяковская галерея), а существование замечательной коллекции европейских шедевров, выставленной теперь в петербургском Эрмитаже, многим обязано двум русским коллекционерам-купцам — Морозову и Щукину.

Новое купечество активно участвовало в художественной жизни своей эпохи. Они распахнули свои двери людям, одаренным разными талантами, оказывали помощь и поддержку многим представителям русского авангарда, писателям и музыкантам, вкладывали деньги в новые издательства и поддерживали новые журналы. Сергей Дягилев, знаменитый импресарио русского балета и энтузиаст русского искусства, смог осуществить свои проекты во многом благодаря помощи представителей купеческого сословия.

Русская история могла бы пойти по другому пути, если бы этот класс был достаточно силен, чтобы противостоять большевикам. Но многие его представители предпочли покинуть страну, а те, кто остался в России, были, конечно, уничтожены.

Для нашего медового месяца Сергей выбрал Калифорнию. Он как раз получил грант Рокфеллеровского института на работу в Гуверском институте при Стендфордском университете на шесть недель. Мы ехали поездом, в котором был специальный вагон со стеклянной крышей, и целых три дня, сидя в этом вагоне, любовались просторами и красотой Америки. Для нас обоих это была первая поездка в Калифорнию, и мы получили от нее огромное удовольствие.

Первое Рождество в Вашингтоне мы встречали в нашем новом доме, где под большой, очень красиво украшенной елкой ждали своего часа многочисленные подарки. Мы пригласили Анну и Осипа Якобсонов на рождественский ужин с тем, чтобы они разделили с нами радость получения подарков. Денис до сего дня любит жаловаться на наш обычай открывать подарки только после праздничного ужина. Когда его друзья звонили рано утром в первый день Рождества и спрашивали, что ему подарили, он был вынужден отвечать, что ему еще не разрешили открыть подарки.

В рождественские каникулы устраивалось множество вечеринок и приемов в Библиотеке Конгресса, и Сергей неизменно брал меня с собой. Мы общались со многими людьми, они приглашали нас на ужины, чаепития и коктейли, но в ту первую зиму, когда дети еще жили в школе-интернате, большую часть времени мы проводили вдвоем.

Но вот однажды вечером в конце января Сергей пришел домой с очень странным, удивленным выражением лица и сказал, что, когда он пошел в банк, чтобы снять деньги со сберегательного счета, ему сказали, что баланс приближается к нулю и той суммы, которую он хотел снять, просто нет. «Я поражен! Я ничего не понимаю! — говорил Сергей. — Куда делись все деньги? Теперь мне придется залезть в долги, чтобы заплатить за школу Дениса».

Поскольку я не считала деньги, которые мы тратили, я тоже удивилась этой новости. Но такова была реальность. Стало ясно, что мне пора идти работать. Эта перспектива меня вовсе не пугала, а Сергей воспринял мое намерение с благодарностью.

Так случилось, что на одной из рождественских вечеринок меня представили человеку по имени Чапин Хантингтон. Он и его жена жили в симпатичном старом доме на Ка-лорама-роуд, мне они показались очень милыми. Хантингтон с энтузиазмом изучал русский, настаивал, чтобы мы с ним говорили по-русски, и спросил Сергея, что я собираюсь делать в Вашингтоне. В то время Сергей с гордостью заявил, что я не собираюсь работать, а буду заниматься домом. Хантингтон пришел в ужас и без обиняков сказал Сергею, что хоронить мои таланты дома — преступление, это слишком эгоистично с его стороны. Когда он узнал, что я соавтор учебника русского языка, он предложил немедленно устроить меня в Университет имени Джорджа Вашингтона. «Декан Дойл — мой хороший друг, — сказал он. — Им давно пора ввести преподавание русского языка. Как только вы решите, что хотели бы преподавать русский язык в университете, позвоните, и я все устрою».

Я напомнила об этом Сергею: «Давай попробуем позвонить Хантингтону». Мы позвонили, и это стало началом моей карьеры преподавателя русского языка и литературы.

Я пошла к декану Дойлу, добродушному старому джентльмену, который согласился, что Университету имени Джорджа Вашингтона действительно пора предложить студентам курс русского языка. «Мы начнем это как эксперимент, моя дорогая, — сказал он. — Мы закажем дюжину ваших учебников, но не будьте слишком разочарованы, если никто не запишется. Это ведь очень трудный язык, как я понимаю». — «Не такой трудный, как китайский, — заверила я его. — Ведь он все же принадлежит к индоевропейским языкам».

«Что ж, я вижу, вы готовы взять быка за рога», — засмеялся он и послал меня в университетский отдел связей с общественностью.

В отделе связей с общественностью меня сразу страстно

полюбили: я была такой интересный материал! «Родилась в Петербурге, жила в Китае, работала на "Голосе Америки"...» К тому же я была фотогенична. Через несколько дней в газете «Вашингтон Пост» появился заголовок: «В Университете имени Дж. Вашингтона будут преподавать русский». Молодая интересная женщина широко улыбалась со страницы газеты, призывая каждого попытаться выучить русский. «Это не такой трудный язык, как китайский», — гласила подпись под фотографией. Далее следовало краткое описание ее «полной приключений» жизни.

Это был беспроигрышный вариант, и, когда началась регистрация студентов, на мой курс записалось семьдесят пять человек. Декан Дойл был изумлен. Студентов разделили на две группы, заказали дополнительные учебники, и я начала преподавать. Мне было нелегко, это действительно требовало большого напряжения сил, но я опиралась на учебник и строго следовала ему. Оглядываясь назад, я понимаю, что меня спасло тогда, в первый семестр, только мое обезоруживающее простодушие. Я действительно считала, что русский язык выучить нетрудно и что я могу ему научить. Теперь, когда я уже не преподаю, могу признаться, что на самом деле русский действительно очень трудный язык для изучения. В 1950-е годы я также была убеждена, что американцам необходимо знать язык своего противника. В начале 1950-х Советский Союз уже без всякого сомнения был нашим врагом — Сталин вернулся к прежним попыткам распространить коммунизм на весь мир, а «железный занавес» наглухо закрылся. Преподавание русского американцам давало мне возможность служить моим идеям, как раньше это было на «Голосе Америки».

Если бы Сергей мог предугадать, как моя работа повлияет на нашу последующую жизнь, он, наверное, никогда не предложил бы мне этот путь. Он и подумать не мог, что мое «преподавание на одном или двух курсах в Университете имени Джорджа Вашингтона» превратит меня в конце концов в профессионального преподавателя и что я добьюсь на этом поприще таких успехов. С недовольным изумлением он наблюдал, как я получила целую кафедру, как я ее развивала и расширяла, как потом получила государственное признание за мою работу.

Когда я только начала преподавать в Университете имени Джорджа Вашингтона, я понятия не имела, что из этого выйдет, но отнеслась к своей работе серьезно, работала много и очень старалась. Я проводила утренние занятия, приходила домой на ланч, покупала продукты, готовила еду, общалась какое-то время

с Натали после ее школы, кормила детей обедом и в пять часов возвращалась в университет вести вечерние занятия. (К тому времени Натали и Денис уже жили дома и учились в вашингтонских школах.) В каждом классе было по 35-40 студентов, так что дома приходилось проверять кипы работ, к тому же я исполняла все обязанности главы факультета. Я была целым факультетом в одном лице — в течение восьми лет у меня

даже не было секретарши. Мне нравилась моя работа, и я не жаловалась. Я была полезным членом общества и делала то, что американскому обществу было в то время нужно. Вспоминая мою детскую и юношескую озабоченность «служением народу», теперь я могла с гордостью сказать самой себе: я служу народу своей страны!

ГЛАВА 11 Университет

Факультет славянских языков и литератур в Университете имени Джорджа Вашингтона был официально основан в 1953 году, когда на мои классы русского языка записывалось уже до двухсот студентов. У меня появились внештатные преподаватели, работавшие на полставки как в самом университете, так и на «выездных» курсах — в таких местах, как Пентагон, Агентство национальной безопасности и военные базы в Виргинии, местом их постоянной работы была Школа военно-морской разведки, где имелась серьезная программа русского языка. Эти люди были носителями языка, русскими эмигрантами, живущими в Вашингтоне. Некоторые принадлежали к старой русской аристократии, некоторые приехали в Америку после войны из лагерей перемещенных лиц. Одни имели высшее образование, а другие даже не закончили и школы.

Один из курсов вел доктор Петр Зубов, бывший лейб-гвардейский офицер, который получил докторскую степень в Колумбийском университете, но почему-то никак не мог получить допуск к работе в Пентагоне. Я позвонила доктору Зубову и с удивлением узнала, что у него нет американского гражданства. Почему нет? Он же, в свою очередь, удивился моему вопросу. «По правде сказать, профессор Якобсон, — сказал он, — вы обижаете меня своим вопросом. Неужели вы допускаете, что офицер лейб-гвардии Его Величества может присягнуть на верность другой стране?»

«Но разве для работы в Школе военно-морской разведки не требовалось американское гражданство?» — спросила я. «Я прошел собеседование в военно-морской разведке.

Они знают, кем я был. Они поняли, что офицер присягает только раз в своей жизни».

Я извинилась перед доктором Зубовым и объяснила ситуацию военным из Пентагона. «Ну что ж, — сказали они, — если это устроило военно-морские силы, это устраивает и нас».

Та же проблема возникла у меня с вдовой эстонского премьер-министра. Она не могла оскорбить память покойного мужа, приняв другое гражданство. Пентагон и это понял, и ее допустили к преподаванию...

...Первые несколько лет преподавания я не чувствовала себя частью университета. Я была одна, никто не обращал на меня внимания, на собрания профессорско-преподавательского состава я не ходила, не видя в них особого смысла и не имея на то времени. Осенью 1956 года учитель русского языка на одном из

«выездных» курсов поделилась со мной идеей открыть отделение Американской ассоциации преподавателей славянских и восточно-европейских языков (AATSEEL) округа Колумбия и муниципального района Мэриленда и Виргинии. Я слышала об этой организации, но не представляла себе ясно, чем она занимается и каковы ее цели. Федор Мансветов, отец того Владимира Мансвето-ва, с которым я работала на «Голосе Америки» в Нью-Йорке, объяснил мне, что AATSEEL — национальная организация, входящая в состав Ассоциации современных языков, и что ее отделения в Виргинии и Мэриленде недавно прекратили свое существование. Он тоже считал, что в округе Колумбия было бы неплохо создать такую организацию, где преподаватели русского языка могли бы встречаться и обсуждать вопросы, представляющие общий интерес. Я согласилась, и мы договорились о предоставлении нам помещения в университете для проведения первого организационного собрания.

В Вашингтоне было много преподавателей русского языка, работавших на федеральное правительство в местных университетах и колледжах. На первое собрание пришло около пятидесяти человек. Было решено, что округ Колумбия должен иметь свое собственное отделение AATSEEL. Повернувшись ко мне, Мансветов сказал доброжелательно: «Среди нас находится очаровательная и энергичная молодая преподавательница, и, если она любезно согласится стать нашим секретарем, я думаю, мы можем начать».

Удивившись такому повороту событий, я ответила вполне откровенно: «Я не думаю, что из меня получится хорошая секретарша. Благодарю вас за предложенную честь, но я должна отказаться».

Мансветов растерялся и не знал, что делать дальше. Но тут чей-то голос в конце зала сказал: «Не согласилась бы госпожа Якобсон занять должность председателя?» Мансветов взглянул на говорившего в полном изумлении. «Это предложение?» — спросил он. «Да, — ответил тот же голос, — я выдвигаю госпожу Якобсон на место председателя отделения AATSEEL». «Я поддерживаю», — раздался другой голос. Бедному Мансветову ничего другого не оставалось, как спросить меня, принимаю ли я выдвижение своей кандидатуры. К собственному своему удивлению, я ответила: «Да, если вы хотите, я буду председателем».

И тут же, на глазах у потрясенных старших преподавателей, я была выбрана председателем нового отделения AATSEEL. Когда я рассказывала об этом Сергею, он спросил: «Почему ты

согласилась? Почему не позволила Мансветову стать председателем? Он явно хотел, чтобы выбрали его ».

«Он, может быть, и хотел, — ответила я, — но люди хотели выбрать меня, они выбрали меня единогласно». И добавила, обиженная его явным недовольством моим успехом: «Здесь демократия, знаешь ли, и она именно так работает».

Я твердо решила сделать наше отделение самым активным и успешным из всех. И действительно, мы скоро имели образцовую профессиональную организацию. Два раза в год мы проводили собрания, хорошо подготовленные, с большим количеством участников. Количество членов нашей организации постоянно увеличивалось, и мы уже привлекали внимание.

В 1957 году в Вашингтоне проходил национальный съезд отделений AATSEEL, и наше отделение выступало в роли хозяина. Я организовала специальный комитет, мы не жалели сил, чтобы развлечь наших гостей: устроили экскурсии по Белому дому, Библиотеке Конгресса и специальный концерт в Библиотеке Конгресса. На каждый из трех дней съезда мы запланировали что-нибудь интересное и закончили приемом в Университете имени Джорджа Вашингтона. Гости попали на великолепный русский пир с русскими закусками — селедкой во всех видах, салатами, пирожками и пирогами, фаршированными грибами... Чай пили из огромного самовара. Успех был огромный, и люди еще долго вспоминали вашингтонский съезд.

На следующий год я отправилась на мой первый национальный съезд AATSEEL в другом городе — в Медисоне, штат Висконсин. Я предвкушала, что без Сергея, который постоянно проверял наш багаж, все будет происходить быстрее. Когда выдали багаж, я схватила свой чемодан и не сравнила номер квитанции с багажной биркой, как это обычно делал Сергей. От аэродрома мы ехали в одном такси со студенткой университета, и я вышла около гостиницы. Я зарегистрировалась, поднялась в свой номер и открыла чемодан. О ужас! Передо мной лежали грязные кроссовки и джинсы. В панике я позвонила управляющему гостиницей: «Что мне делать? Я взяла чужой чемодан!» — «Вы приехали на такси?» — осведомился он. «Да, мы ехали вместе с какой-то студенткой».

«Не стоит беспокоиться, — сказал он. — Ей вряд ли понадобится ваша одежда. Уверен, что она очень скоро вернет чемодан ».

Он оказался прав. Открыв чемодан, девушка была в не меньшем отчаянии, чем я. Что ей делать с моими тщательно подобранными костюмами и блузками? Буквально через несколько минут после моего звонка управляющий сообщил мне,

что молодая дама ждет меня внизу с моим чемоданом. «О, слава богу, я нашла вас! — воскликнула она. — А то я уже была в панике. Мне просто нечего было бы надеть!»

Я увидела в этом происшествии предупреждение. Одеваясь к первому вечернему приему, я подумала, что становлюсь слишком самоуверенной! «Вспомни наставления Аграфены о смирении!» Я позвонила Сергею в тот же вечер и сказала, как он был прав, предупреждая меня о необходимости всегда проверять бирки!

На приеме я встретила Екатерину Волконскую, профессора русского языка в Вассар-колледже, которая, как раньше Мансветов, искала какого-нибудь молодого и энергичного человека, чтобы помочь ей организовать комитет по внедрению изучения русского языка в средние школы. Профессор Волконская была известным и уважаемым преподавателем из «ветеранов». Она познакомила меня с группой других старших преподавателей русского, которые разделяли ее мнение о том, что пришло время включить русский язык в программы средних школ. Они считали, что в конечном итоге это будет полезно и для нашей работы в колледжах и университетах, даст нам базу для развития наших программ, и не придется начинать с обучения алфавиту студентов, достигших уровня высшего образования.

Мы решили выдвинуть свое предложение на деловой встрече и попросить поддержки AATSEEL. Мне было чрезвычайно приятно, что меня приняли в свою группу столь уважаемые преподаватели, и я полностью разделяла их уверенность в необходимости проекта. Когда настал момент внести на голосование наше предложение, Волконская предложила сделать это мне. Я изумилась, но времени спорить не было. Я вышла к микрофону, внесла предложение и объяснила его собравшимся. Кто-то поддержал предложение, и комитет был основан при всеобщем одобрении.

«Я предполагаю, профессор Якобсон, — сказал председатель собрания, — что вы будете председателем комитета? »

Я взглянула на других членов нашей группы, не зная, что ответить. «Конечно, профессор Якобсон будет председателем», — быстро сказала профессор Волконская.

Так я стала председателем Национального комитета по содействию изучению русского языка в средних школах. Я вернулась домой окрыленная успехом. Сергей не знал, что и думать, но он не мог не радоваться, видя, как сияли мои глаза, когда я рассказывала ему обо всех этих потрясающих событиях.

Когда вскоре после этого Советский Союз запустил в космос свой первый спутник, в Америке начали всерьез беспокоиться о состоянии образования. Как вырастить поколение, которое

окажется на высоте положения в эпоху советского военно-научного прогресса? Немаловажным фактором в этих новых заботах было то, что мы называли «самоубийственной лингвистической летаргией» среди американских граждан.

Я пошла в Министерство просвещения, чтобы собрать сведения о преподавании русского языка в средних школах, но доктор Марджори Джонстон, глава отдела, занимающегося преподаванием иностранных языков в общественных школах, не могла предоставить мне такую информацию. Она предложила, чтобы первым шагом нашего комитета как раз и стал сбор такой информации. «Проведите национальный опрос, — сказала она, — и мы опубликуем его результаты в нашем бюллетене». Она дала мне список людей в каждом штате, которые могли бы предоставить нужные сведения. С помощью Нелли Апанасевич, студентки, вызвавшейся мне помогать, мы разослали запросы в отделы образования всех штатов и сумели написать отчет как раз вовремя: Конгресс в 1958 году принял Акт об оборонном значении образования, в котором русскому языку придавалось «первостепенное значение» как на университетском уровне, так и в средних школах.

Наш комитет предоставил собранные нами сведения многим образовательным учреждениям, и на это появились отклики в прессе. У меня взяли несколько интервью, Ассоциация современных языков пригласила меня вступить в их Комитет иностранных языков, а Ассоциация национального образования основала отдел иностранных языков, членом которого я стала. На съезде AATSEEL в 1959 году в Нью-Йорке наш комитет удостоился высших похвал. Газета «Нью-Йорк Тайме» напечатала интервью со мной.

Андре фон Гроника сказал мне, что наш учебник пользуется большим спросом, и наш издатель Прентис Холл пригласил меня на обед в «Русскую чайную». Андре больше не преподавал русский язык, теперь он заведовал немецкой кафедрой в Пенсильванском университете, но очень радовался успеху учебника.

В 1959 году я наконец-то перестала быть «факультетом в одном лице». Нашелся очень подходящий кандидат на должность моего заместителя, недавний выпускник Гарварда, член студенческого элитарного общества «Фи Бета Каппа», имевший прекрасные рекомендации, который очень хотел переехать в Вашингтон. Его жена выращивала и тренировала чесапикских лабрадоров, и Виргиния была походящим местом для такого занятия. Его звали Юджин Панцер III. Заработок его не очень интересовал, так как был он из богатой семьи, но его родители

настаивали на том, чтобы он как-то использовал свое образование. Высокий, атлетического сложения, он производил приятное впечатление, и я считала, что мне очень повезло.

Мы решили ввести в университетскую программу обзорный курс славянской литературы на английском языке, по примеру курса английского факультета «Великая европейская литература».Я сообщила об этой идее декану, и он попросил меня внести наше предложение на следующем собрании профессуры. Перед собранием я раздала всем присутствующим наш план и была готова защищать его по существу. Конечно же, Толстой, Достоевский и Чехов считаются писателями того же уровня, что Золя или Бальзак. По крайней мере, я так думала.

Я закончила свое выступление, и в зале разразилась гроза. Как смела я сравнивать эту «никому не известную русскую литературу», эти «ничтожества» с великими Гюго, Гомером и Шекспиром?! Как могла я ставить их рядом?! К тому же никогда еще языковой факультет не предлагал курс литературы в переводе, это было «неприемлемо». И вообще, чем я занималась на своем факультете, почему мои студенты после двухгодичного изучения языка не могут читать эту литературу в оригинале? Пора разобраться, что там происходит на славянском факультете!

В то время, внося предложение о введении нового курса на факультете, нужно было сначала представить письменное предложение в колледж с двухгодичной программой обучения и только потом в Колумбийский колледж с полной четырехгодичной программой на одобрение всей профессуры. Если профессора и преподаватели одобряли предложение, декан передавал его администрации университета со своей рекомендацией. В тот момент я не понимала, что мое предложение угрожает доминирующему положению английского факультета. Получалось, что наше предложение облегчило бы студентам, занимающимся научными дисциплинами, исполнение требования об обязательном прослушивании какого-нибудь курса по литературе, дав им свободу выбора между нашей программой и той, которую предлагал английский факультет.

В 1959 году, в «послеспутниковую эру», особое внимание обращалось на занятия наукой, и университет выделял большие дополнительные фонды факультетам физики и химии. Профессора этих факультетов, выслушав горячие дебаты о превосходстве «западной» литературы и мою страстную защиту Толстого и Достоевского, вдруг выступили за меня. Они проголосовали за принятие моего предложения. Это была неожиданная победа, ставшая результатом непредвиденного и необычного союза славянского и естественно-научных

факультетов.

После этого я должна была пройти через такую же процедуру на собрании профессоров Колумбийского колледжа. Я быстро превращалась в «скандальную фигуру», и обычно скучные собрания сильно оживились. События развивались примерно так же, приводились те же доводы, но декан в какой-то момент прекратил прения и предложил создать специальный комитет под совместным председательством глав факультетов немецкого, романских и английского языков и меня, чтоб «разобраться в этом вопросе». Через месяц, на следующем собрании, мы должны были представить свой доклад.

Все были очень любезны, когда я первый раз созвала собрание этого комитета. Всем хотелось знать, достаточно ли необходимых книг в университетской библиотеке и что будет делать славянский факультет, если на этот курс запишутся двести студентов. Проект курса и квалификация преподавателя, который должен читать курс, возражений у них не вызывали. «Господа, — спросила я, — выражаете ли вы единогласное одобрение?» — «Да», — ответили все.

С чувством облегчения я пришла на следующее собрание профессоров и объявила, что комитет одобрил предложенный курс. Однако, как только я села на свое место, встал глава факультета романских языков и, смотря прямо на меня, сказал: «Профессор Якобсон была так очаровательна и убедительна на собрании нашего комитета, что, должен признаться, мне было трудно ей возражать. Но потом, в тишине моего кабинета, я еще раз все обдумал и понял, что я должен теперь отказаться от поддержки этого курса».

По рядам прошел шорох — большинство профессоров были шокированы такой явной попыткой меня унизить. Потом встал второй член комитета, глава английского факультета, и сказал: «Я присоединяюсь к моему коллеге в его нежелании поддержать предложение профессора Якобсон. — И добавил, поклонившись в мою сторону: — Она действительно очаровательная женщина».

«Я тоже разделяю сомнения моих коллег в разумности одобрения такого курса», — сказал третий, глава немецкого факультета.

Я была в бешенстве. Несколько профессоров выразили свою обеспокоенность происходящим. Декан явно меня подставил, и это было несправедливо. Все ждали моей реакции.

Когда я действительно сержусь, я становлюсь очень спокойной и рассудительной. «Я поражена, господа, — начала я, — что никто из вас не подумал позвонить мне перед собранием и сообщить о том, что вы передумали. Тогда я могла бы не

представлять результаты собрания нашего комитета и не тратить драгоценное время собравшихся. Я по-прежнему уверена в ценности курса, вынесенного нами на одобрение собрания, и очень сожалею, что я так и не услышала веских аргументов против его одобрения».

Декан понял, что дело идет не совсем так, как он задумал. Многие бросились меня защищать. Кто-то внес предложение не обращать внимания на доклад комитета и сразу перейти к голосованию. Декан быстро предложил созвать специальное собрание через две недели и объявил перерыв на обед. Я пошла в профессорский клуб и села вместе со своими коллегами по комитету. Они выглядели смущенными. Я же была «очаровательна» в течение всего обеда.

Вернувшись в свой кабинет, я рухнула на стул, и от обиды со мной случилась истерика. В соседней комнате сидела секретарша университетской службы инвентаризации миссис Мартин. Услышав мои всхлипывания, она постучала в дверь и спросила, в чем дело. Я все ей рассказала, и она сразу же предложила план действий: «Дорогая, вы все делаете не так. Вы не можете бороться с английским факультетом в одиночку. Вы должны организовать группу поддержки среди профессоров. Кого вы знаете на факультетах истории, политических наук, химии, физики? Вот кто ваши союзники. Позвоните деканам Кайзеру и Ван Эверу. Они вам помогут».

Она была права. На следующее утро я позвонила обоим деканам и спросила их совета. Я также пригласила на ланч главу факультета политических наук и профессора русской истории.

Следующее собрание состоялось в большой аудитории, все места были заняты. Декан открыл собрание и сказал, что первоначальное предложение не прошло и что обсуждать больше нечего, если, конечно, кто-нибудь не внесет его опять. Послышались голоса из зала, предлагающие рассмотреть внесение курса славянской литературы. Члены английского факультета опять принялись излагать свои аргументы. Повторив все свои старые доводы, что славянская литература не создала ничего достойного, они выдвинули следующее предупреждение: «Несформировавшиеся юные умы наших студентов будут смущены, их христианские ценности и нравственные устои — подорваны. Наш долг как учителей защитить их от таких чуждых и незападных влияний».

Я не верила своим ушам. Достоевский и Толстой — не носители христианских ценностей? Дискуссия продолжалась в том же роде довольно долго. Я говорила мало, просто наблюдала, как профессора воюют друг с другом. Собрание шло полтора часа.

В конце концов предложение было принято большинством голосов: курс славянской литературы должен быть включен в программу. Мы выиграли битву. Но, когда я вернулась к себе, раздался телефонный звонок. Это был декан. «Профессор Якобсон, — сказал он, — я очень смущен. Я чувствую себя перед вами виноватым из-за того, что не сообщил вам, что, хотя собрание одобрило ваш курс, он не может считаться соответствующим академическим требованиям к литературным курсам наравне с другими подобными курсами. Университетское правило гласит, что любой курс должен читаться два года перед тем, как получить равный статус».

«Где я могу найти это правило в уставе?» — спросила я. «Его нет в уставе. Это неписаное правило. Это моя вина, что я не сказал вам о нем. Я забыл, что вы у нас недавно и можете о нем не знать. Пожалуйста, заберите свое предложение на следующем собрании».

После всего... «Хорошо, — ответила я как можно любезнее. — Кажется, у меня нет выбора».

«Я буду очень благодарен, если вы поможете мне избежать неприятностей», — сказал декан.

«Но, — продолжала я, — вы, конечно, позволите мне сделать короткое заявление перед тем, как я заберу свое предложение?»

«Да, да, конечно», — ответил он.

Так, подумала я, что теперь? Все это надо хорошо обдумать и составить план действий. Я села и сразу начала обзванивать своих сторонников. Они, конечно, никогда не слышали о таком правиле и советовали мне не волноваться.

Перед следующим собранием я пошла к хорошему парикмахеру, потом выбрала темно-синий костюм с широким белым воротником, который мне особенно шел. Я решила предстать на собрании во всеоружии.

Для своего заявления я написала короткий текст, основанный на недавно опубликованном докладе профессора Таппера, члена английского факультета. Темой этого «Доклада Таппера» были цели и задачи университета, и в нем я нашла как раз такую цитату, которая была мне нужна. Профессор Таппер призывал научные круги не отставать от времени, не цепляться за свой западный провинциализм, питая юные умы только западной культурой, а исследовать и другие культуры мира.

Я сказала, что, предлагая курс славянской литературы, я просто следовала рекомендациям профессора Таппера, но после того, как декан сообщил мне о «правиле», требующем двухлетнего испытательного срока для такого курса, у меня нет другого выбора, как только снять свое предложение. Я извинилась перед

собравшимися за то, что отняла у них столько драгоценного времени, и вернулась на свое место. Сразу же я услышала, как кто-то выдвинул предложение вновь рассмотреть вопрос о нашем курсе. Предложение было поддержано, причем с оговоркой, что не нужно уже никаких дальнейших обсуждений. Призвали к устному голосованию. Предложение было принято без голосования при всеобщем одобрении. Спасибо, профессор Таппер!

Декан, несомненно, действовал по привычному плану. Я, как новенькая, должна была его бояться, бояться его власти сделать мою жизнь невыносимой. Увы, я не прошла многолетней школы работы в американских университетах, как мои старшие коллеги, и ничего не знала о власти декана. Я уверена, что он искренне защищал свою территорию и данную ему власть. Английский факультет, членом которого он был (он вел курс по Мильтону), являлся традиционной опорой университета, главной его частью. В 1959 году, однако, его статус стал меняться под влиянием возрастающего упора на точные науки. В следующие годы этот декан делал все, что только мог, чтобы помешать развитию славянского факультета, отказавшись даже принять грант, который я получила от Министерства образования для того, чтобы ввести курс преподавания еще одного славянского языка.

Конечно, я боролась с ним «за каждую пядь земли». Сейчас, когда мы оба на пенсии и наши баталии остались далеко в прошлом, мы поддерживаем дружелюбные и корректные отношения.

После этих собраний я стала «своей» в университете, у меня появились друзья и союзники. Я участвовала во всех собраниях профессуры, и меня представляли новым учителям как «даму, которая не боится декана». Я так была предана университету, что когда миссис Юджин Майерс, вдова владельца газеты «Вашингтон Пост», щедро жертвовавшего на нужды университета, позвонила нам на факультет и попросила устроить ей уроки русского языка, я вызвалась с ней заниматься и отказалась брать за это деньги. Миссис Майерс, шокированная, несомненно, моим «непрофессиональным» поведением, очень огорчилась и дала мне подписанный, но незаполненный чек со словами: «Пожалуйста, впишите подходящую сумму сами, дорогая. Никто еще ничего не делал для меня бесплатно».

Меня дважды выбирали в университетский совет, какое-то время я была главой факультета славянских и восточных языков. Когда университет получил государственную субсид>..о на открытие китайско-советского отделения, я помогла ему встать на ноги, включив китайский язык в программу славянского

факультета.

В 1960-х годах наш факультет стал очень популярным среди студентов, ищущих чего-нибудь «интересного и необычного». Наш курс славянской литературы привлекал около ста пятидесяти человек, а курс по Достоевскому посещали от восьмидесяти до девяноста студентов. Студентов, специализирующихся по русскому языку, становилось все больше, и в конце концов мы смогли создать на нашем факультете аспирантскую программу. У нас было шесть штатных единиц на полное рабочее время и несколько внештатных сотрудников. Организованный нами Русский клуб расширил свою деятельность, теперь там занимались не только наукой — устраиваемые им празднования русской Пасхи стали легендарными, о них писали и в университетских, и в городских газетах. Я оставалась на посту главы факультета девятнадцать лет. У меня было в университете много друзей — и среди профессоров, и среди студентов. Я храню очень теплые воспоминания о тех днях.

Некоторые студенты, конечно, были моими любимчиками, в чем теперь я могу признаться. Катрин Мерфи, которая училась у меня в 1950-х годах, остается и поныне моей близкой подругой. Одной из первых получила университетский диплом по специальности «русский язык» Шер-ли Березески, теперь Гатри. Гери Керн, возможно самый талантливый мой студент, стал известным переводчиком. Маша Суханова-Уилсон, очаровательная и популярная студентка, — теперь жена врача и мать троих детей. Аня Бенсон, очень красивая молодая женщина, поступила к нам в аспирантуру после развода с мужем и потом влюбилась в брата Маши Никиту; она вышла за него замуж и сделала карьеру в издательском деле, найдя применение своим познаниям в русском языке. Адриенн Хонинг-Мер-фи, которую я помню прелестной первокурсницей, теперь успешно работает устным и письменным переводчиком. Многие другие тоже преуспели в жизни, и я благодарна судьбе, которая меня с ними свела.

Бурные события 1960-х годов не обошли нас стороной. Университет имени Джорджа Вашингтона был, как написано в нашей рекламной брошюре, «на расстоянии брошенного камня от Белого дома». Неловкая фраза — скоро в университетские стены полетели настоящие камни. Я удивлялась панике, возникшей среди профессоров: они действительно думали, что началась революция. Помню, как я сказала на одном из заседаний: «Я пережила две революции — русскую и китайскую и могу вас заверить, что то, что вы видите, не революция. Это просто небольшой студенческий бунт».

Мне было очевидно, что за большую часть так называемых «стихийных выступлений » ответственна была маленькая радикальная группа, существовавшая в нашем университете, — «Студенты за демократическое общество». Я легко узнала в них марксистов. Радикальный марксистский философ Герберт Маркузе написал руководство, которое можно было купить даже в местной аптеке. Оно содержало указания, как захватить студенческую газету, занять главные посты в студенческом самоуправлении и как искать союзников среди преподавателей. К несчастью, этим радикальным действиям оказывалось слишком слабое сопротивление. В то время в высшие учебные заведения поступало очень много народу, университет заполонили студенты, слонявшиеся без дела и восставшие против любого авторитета.

«Вы стоите перед классом и смотрите на нас сверху вниз! — крикнул мне как-то один такой бунтарь. — Мы все равны, между прочим!»

Я ответила: «Если я сяду за стол, вы не сможете меня видеть — я довольно маленького роста. А если мы равны и вы знаете столько же, сколько и я, вам нечего делать в моем классе, мне нечему вас учить!» Я вовсе не была «сентиментальным либералом».

Меня пригласили войти в новую национальную организацию, называвшуюся «Университетские отделения за рациональные альтернативы». Идея ее создания принадлежала Сидни Хуку из Нью-Йоркского университета, хотевшему поддержать университетские администрации в борьбе со студенческими мятежами. Традиционная политика университетов заключалась в том, что университетские территории были закрыты для местной полиции и использование внешней силы допускалось лишь в экстремальных ситуациях. Но таковых бывало много: я помню, как мы пробирались в классы сквозь облака слезоточивого газа, используемого полицией для подавления разбушевавшихся студентов.

Если бы я не видела уже настоящих революций, я могла бы отнестись к этим событиям с большим интересом. Однако последствия меня беспокоили. Уровень образования падал. Университет отказался от обязательных требований по языку и литературе, а за работу теперь вместо оценок, по некоторым предметам, просто писали в журнал «сдал» или «не сдал». Какие-то курсы упростили, а некоторые курсы из обязательных стали факультативными. На факультет антропологии вдруг записалось очень много студентов, гораздо больше обычного, наняли дополнительных преподавателей, но их пришлось уволить через

несколько лет, когда «настроение» переменилось. Некоторые профессора, не выдерживавшие давления, покинули университет и стали искать себе применения в других областях.

Открытое использование наркотиков на территории университета приобрело невиданный размах. Однажды мне позвонил студент и попросил разрешения сдать экзамен в другой день, потому что он только что принял ЛСД (галлюциноген) и должен достичь «высшей точки» как раз тогда, когда начнется экзамен. Я сдержала свое возмущение и позвонила декану, который посоветовал мне просто удовлетворить просьбу студента.

В 1960 году к славянскому факультету обратилось местное телевидение и поинтересовалось, не хотим ли мы организовать телевизионный курс русского языка, который будет транслироваться ранним утром. В шесть тридцать утра я лично никого ничему учить не способна, но я нашла идеальных кандидатов: Владимира Толстого, чья фамилия была знакома многим, и Наташу Кларксон, чье имя вызывало в памяти знаменитую толстовскую героиню. Программа оказалась очень удачной и популярной. Более тридцати пяти тысяч человек слушали этот курс, семьсот восемьдесят девять из них получили за это баллы в своих университетах. Программа шла два года и выходила в эфир три раза в неделю.

Я подготовила для нее специальный сборник упражнений в дополнение к «Основам русского языка» и во время весенних каникул организовывала лекции по русской истории, литературе и искусству для наших телевизионных студентов. Создавались учебные группы, они собирались в библиотеках и частных домах. Некоторые группы просили о дополнительных уроках. Я до сих пор встречаю ученых, школьных учителей, государственных служащих, домохозяек, которые вставали в шесть тридцать утра, чтобы учить русский язык.

Конечно, это требовало от меня много дополнительной работы. Я приходила в учебные группы, находила русских учителей для дополнительных занятий. К счастью, к тому времени Денис и Натали уже учились в колледже, а Сергей, как обычно, продолжал стойко переносить мою бешеную деятельность, при условии чтобы все уик-энды я проводила с ним.

В 1962 году меня выбрали президентом национальной AATSEEL. Я ездила на собрания, читала доклады и председательствовала на «круглых столах». И все это доставляло мне большое удовольствие!

ГЛАВА 12 Личная жизнь

Университет был важной частью моей жизни в течение тридцати двух лет. Я очень ценю эти годы роста и накопления опыта. Мне повезло: я могла учить языку, который был моим от рождения, на котором я говорила с самого детства, могла передавать русское культурное наследие американским студентам. После ухода на пенсию я установила аспирантскую стипендию для изучения русского языка в Школе международных отношений — мой дар университету за его роль в моей жизни.

Сергей не участвовал в моей деятельности. В то время, когда я вышла за него замуж, он уже утвердился в своей профессии: он служил и правительственным, и академическим кругам и получил известность как «ученый в правительстве». Сергей занимал два поста в Библиотеке Конгресса: глава Славянского и Восточно-европейского отдела и старший специалист по международным отношениям в законодательной справочно-информационной службе. Когда он ушел на пенсию, на эти посты были наняты два человека. Однако Сергей без особого труда справлялся со всеми своими обязанностями и успевал еще заниматься исследованиями и писать.

Он обладал потрясающей памятью ученого на даты, имена и места, был красноречивым и убедительным оратором и участником дискуссий. Я часто жалела, что он не выбрал академическую карьеру, из него бы вышел великолепный профессор. Но похоже, что он не хотел соперничать со своим братом Романом, который создал себе имя (и даже писал его по-английски иначе, чем Сергей, — Jakobson вместо Yakobson) и получил международное признание в мире славистики.

Но Сергей оставил свой след в американской науке тем, что помогал историкам, приходившим заниматься в библиотеку. Многие признавали его вклад в их работу и были глубоко благодарны за готовность поделиться с ними своими обширными знаниями. Он так и не написал свою важную книгу об истории России в Африке — он отдал все свои материалы молодому ученому из Университета Джона Хопкинса, Эдмонду Уилсону, который включил их в свою докторскую диссертацию.

Большую часть своих научных и аналитических исследований Сергей написал для членов Конгресса — анонимно. Сенатор Генри Джексон, ныне покойный, написал трогательные слова в посвященном Сергею некрологе, опубликованном в материалах Конгресса:

«Что я особенно ценю в моем долгом профессиональном

сотрудничестве с доктором Якобсоном — это его неизменную веру в свободу личности и в обещания Америки всем угнетенным в мире ».

Лучшее описание своей работы в Библиотеке Конгресса, однако, дал сам Сергей:

«Оглядываясь назад, я вижу, что моя жизнь, с ее главными остановками в Москве, Берлине, Лейпциге, Лондоне, Оксфорде и Вашингтоне, была определена тремя факторами: войнами, революциями и книгами. Я не мог, конечно, управлять первыми двумя, но третий оказался более податливым. Я читал и писал книги, рецензировал, переводил, публиковал и рекламировал их, каталогизировал их и снабжал их указателями, управлял ими, покупал и продавал их, но никогда не подвергал их цензуре и не жег».

Я очень скучаю по моему ученому товарищу.

Жизнь Сергея сформировали три великие культурные традиции — русская, немецкая и английская. Он высоко ценил все три и опирался на них в своей работе и в частной жизни. Когда я начинала свою профессиональную карьеру, я подумала, что Сергей и я могли бы очень хорошо работать вместе. И многие друзья думали, что так оно и было, но это противоречило бы всем трем традициям. Традиционная роль, которую Сергей принял на себя и в которую он твердо верил, не позволяла сотрудничества, равного участия мужа и жены. Конечно, в Америке такое было возможно, но в этом отношении, как и во многих других, Сергей так никогда и не стал «американцем».

По правде сказать, он так никогда полностью не признал законности моей профессиональной деятельности. Пять учебников, которые я написала, были плодом только моего труда, Сергей видел их уже после выхода в свет. Когда я поняла всю бесполезность моих попыток делиться с ним своей университетской жизнью, я просто никогда больше об этом не заговаривала. Он тоже молчал, зная, что я по этому поводу думаю. Смысла в спорах не было — мы разрешили проблему путем ее игнорирования. Он изо всех сил старался верить, что моей карьеры просто не существует, надеясь, что однажды я от нее откажусь и буду сидеть дома. Боюсь, что, учитывая все обстоятельства, из меня не получилась «правильная жена» для Сергея; наверное, он чувствовал разочарование от того, что не осуществилась та жизнь со мной, о которой он мечтал.

Любовь коварна. Я тоже начала понимать, что вышла замуж за человека не такого, как я думала. Я не могла рассчитывать на Сергея, как на друга; мои попытки объяснить ему, почему я действовала и чувствовала именно так или иначе, не вызывали

отклика. Ему вовсе не было нужно понимать «почему» и «как», все это была чепуха, «глупые женские разговоры».

«Я не глупая женщина!» — обижалась я. «Ну, успокойся, успокойся, — говорил он. — Ты вовсе не глупая, просто говоришь глупости. Забудем об этом».

Ничего не достигнув разговорами, я скоро поняла, что должна принять его на его условиях и перестать пытаться вовлекать в мою профессиональную жизнь. В результате в течение тридцати двух лет в Университете имени Джорджа Вашингтона у меня не возникло ни одной настоящей дружбы, хотя там было много людей, которые мне нравились и которым нравилась я. Мое общение с людьми, встречи, развлечения происходили в кругу Библиотеки Конгресса, где я была просто женой Сергея. Постепенно я научилась сочетать мои столь разные роли, постоянно вступающие в противоречие, — мою профессиональную карьеру, выполнение обязанностей жены и воспитание двух детей.

Наверно, каждый член нашей семьи к 1950-м годам носил в душе образ того, какой должна быть «американская семейная жизнь», и в общем и целом мы все сумели осуществить свою мечту. Все четверо хотели, чтобы жизнь была «правильной », и мы изо всех сил старались таковой ее сделать. После двух кошмарных недель нашего первого семейного отпуска на пляже, когда все всем мешали и действовали друг другу на нервы, детей каждый год посылали в летние лагеря, пока они не поступили в колледж. Дни рождения не пропускались никогда, мы отмечали даже день рождения нашей собаки. В Рождество и День благодарения мы все традиционно собирались за семейным столом, и друзья наших детей часто проводили у нас сочельник. Пока Денис и Натали были студентами, они приезжали домой на все праздники, нередко привозя с собой друзей, постепенно становившихся друзьями всей семьи.

Дети знали, что всегда могут рассчитывать на мою поддержку, даже если это не нравилось Сергею. Я помню, как тайком подписывала разрешение Денису играть в школьной футбольной команде после того, как его отец это запретил; мы с Натали убегали в кино после того, как Сергей вдруг передумывал и решал, что все должны остаться дома. Мы устраивали чудесные ужины по воскресеньям, оживленный разговор и смех создавали ту особую семейную близость, к которой мы все стремились.

Конечно, были и другие события, не менее «традиционные» — борьба детей против родительского авторитета, необходимые наказания, крики «Ты просто не понимаешь!» и «Это несправедливо!». Старший брат дразнил младшую сестру,

младшей сестре сходило с рук то, за что наказывали брата, — совсем как в кино или в телевизионных комедиях. Мы все научились понимать, что жизнь состоит из таких взлетов и падений, и пытались вести себя «нормально». У нас получилась в конце концов обычная американская семья, и каждому из нас удалось создать в ее рамках свой независимый стиль, свою жизнь. Много лет семья была в центре моей жизни, и теперь, когда я живу одна, мне ее не хватает.

У Дениса, который сейчас живет в Денвере (штат Колорадо), набралась богатая коллекция рассказов о нашей «семейной жизни». Все их слышали много раз, но, когда семья собирается вместе, он неизменно рассказывает их, **к** восторгу присутствующих и к пользе младшего поколения Якобсонов. Денис закончил Корнеллский университет с дипломом инженера, работал сначала в «Грамман Эрк-рафт», одновременно учась в аспирантуре, а потом в «Мартин Мариетта» и «Вестингхаус». Позже он перешел в маленькую фирму, где стал вице-президентом, а в 1981 году стал президентом корпорации «Рентех», акционерного общества с широким владением акциями, которое занимается разрешением экологических проблем. Корпорация разработала процесс утилизации метана (болотного газа) и углекислого газа, выделяемого естественным путем при образовании больших мусорных свалок, и превращения его в свободное от серы дизельное топливо и другие углеводороды...

...Мы с Сергеем прожили тридцать лет. Это была совместная жизнь двух людей, которые полюбили друг друга и поженились. Иногда я думала, что мы оба сделали неправильный выбор, однако наш брак оказался прочным. Вопрос о разводе не вставал никогда и даже никогда не приходил в голову. Мы оба чем-то жертвовали, улаживали разногласия и учились принимать друг друга «в радости и в горе». А было у нас и то, и другое...

Сергей давал мне возможность развиваться: путешествовать, использовать свои интеллектуальные возможности, познавать увлекательный мир вашингтонской международной политики. Наш брак стал для меня той прочной основой, на которую я могла опираться, строя свою собственную жизнь.

Когда мы начали путешествовать, передо мной открылись новые миры. Вдали от дома, от детей и работы Сергей мог не делить меня ни с кем, и он был счастлив. Хотя я считала себя плохой путешественницей — мне всегда становилось неуютно вдали от привычного окружения, — это были самые счастливые моменты нашей совместной жизни. Он был прекрасным товарищем, образованным, культурным человеком и очень меня любил и прощал мне то, что подчас оказывался для меня на

втором плане.

Каждый год мы проводили пять или шесть летних недель в путешествиях, всегда заезжая в Лондон на неделю-другую. Мы посещали те места, где Сергей жил, находили его старых друзей. Я научилась любить Лондон почти так же, как любил его Сергей.

Когда Сергей ушел на пенсию в 1971 году, я взяла в университете отпуск на целый семестр, и мы уехали в Европу. Сначала мы жили в Италии, в Белладжо, на вилле Сербелони, принадлежавшей фонду Рокфеллера, на работу в котором Сергей получил грант. Мы как будто вернулись в прошлое, в место несравненной красоты, средневековый город, где до сих пор существовало классовое устройство общества и где мы целый месяц наслаждались привилегиями, положенными нам по статусу.

Остальное время, до Рождества, мы проводили в Лондоне. Ходили в оперу, в Королевский балет, ездили посмотреть шекспировский театр, посещали Кембридж и Оксфорд, где у Сергея были друзья. Большинство из них принадлежали к нашему поколению; я познакомилась со многими очень интересными людьми, чьи имена я встречала до того только в книгах или на книжных обложках.

В салоне баронессы Муры Будберг в Лондоне по воскресеньям можно было встретить молодых английских писателей и политиков. В то время, когда я с ней познакомилась, Мура была величественной старой дамой, все еще достаточно привлекательной, чтобы обращать на себя внимание мужчин. В молодости она была любовницей Максима Горького и гражданской женой Г. Уэллса. Мы обедали в клубе «Атенеум» с сэром Исайей Берлиным, пытаясь не потерять нить его беспрерывного монолога…

Я помню, как услышала слова одной из сестер Пастернак, Лидии или Жозефины: «Как жаль, что нет Бориса. Я только что написала стихотворение и хотела бы ему прочитать», и поняла, что в этой семье все трое детей писали стихи.

Мы подружились с Женей Горнштейн, сестрой Льва Лунца, основателя «Серапионовых братьев» (литературного объединения в России 1920-х годов). В этом кругу литературные занятия тоже воспринимались как часть обычной жизни. Муж Жени был писателем и переводчиком на английский русской поэзии. Архивы Льва Лунца позже стали темой докторской диссертации моего ученика Гери Керна.

Мы нанесли визит знаменитой русской красавице Андрониковой-Гальперинoй, подруге многих знаменитых представителей Серебряного века русской литературы. Ее

маленькая квартирка в Лондоне была увешана картинами русских художников-авангардистов. В Оксфорде мы встречались с Максом Хейвудом, который перевел на английский «Доктора Живаго» Пастернака, со знаменитым византологом Дмитрием Оболенским и историком Коноваловым. Все эти люди принадлежали к определенному кругу общества и не выходили за его рамки, и это было очень интересно наблюдать. Для них я была просто молодой женой Сергея. Они были со мной очень добры и любезны, но я прекрасно знала свое место.

Потом мы с Сергеем полюбили ездить в круизы, повидали греческие острова, скандинавские фьорды, Рейн, Бер-муду, Багамские и Карибские острова. Мне нравилось переодеваться к ужину, гулять по палубе при луне, при желании в любое время дня и ночи смотреть на различные представления, танцевать... Мы возвращались домой, к обычной жизни, но воспоминания оставались. И остаются до сих пор.

Сергей умер в ноябре 1979 года. Его похоронили в Англии, как он и хотел, на кладбище Хэмпстед-Хит. С тех пор я живу одна в том же доме, в котором мы прожили тридцать лет. Путешествовать без моего товарища неинтересно. Лето я провожу на своей даче в Бетани-Бич (штат Делавэр), которую купила больше двадцати лет назад вопреки желанию Сергея, но с его щедрой финансовой помощью. Дача находится всего в трех часах езды на машине от Вашингтона и всегда была моим убежищем, где я отдыхала от работы, от ежедневного напряжения. Сюда приезжают мои пожить прямо в сосновом лесу, недалеко от пляжа Атлантического океана.

Недавно меня спросили, какой период своей жизни я считаю наиболее счастливым, и я ответила: «С учетом всех обстоятельств, я бы ни на что не поменяла мою сегодняшнюю жизнь».

«Правда? Даже на то время, когда вы были молоды?»

«Конечно, нет! Тогда я была очень несчастна. Недавно я вновь думала о своей жизни и поняла, что сейчас — самое лучшее время».

Я чувствую, что заплатила за «грехи деянием или недеянием» и заслужила тишину и покой. Получив свободу жить так, как мне хочется, я научилась говорить «нет» тем людям и делам, которые не кажутся мне стоящими. Я больше не чувствую себя обязанной делать что-то только потому, что это «должно быть сделано».

Моя жизнь не одинока и не ограничивается собственными интересами. Я выполняю свои общественные и личные обязанности, потому что они важны для меня. С начала 1980-х годов я возглавляла вашингтонское отделение Литфонда, русского литературного общества, основанного в Нью-Йорке. Оно

возникло в 1918 году с первой волной эмиграции как благотворительная организация, призванная помогать русским писателям и художникам «в изгнании». Наша деятельность включает организацию лекций известных эмигрантских деятелей, к нам приходят новые эмигранты, которым мы пытаемся помочь «навести мосты» между их прошлым и новой, часто чужой, неопределенной и вызывающей страх жизнью.

В каком-то смысле жизнь совершила полный круг. Я приехала в США из Китая накануне Второй мировой войны, совершенно не подготовленная к жизни в этом новом мире детством в революционной России и юностью в колониальном Китае. Теперь же я могу передать этим вновь приезжим то, что мне посчастливилось здесь получить. За эти десятилетия я научилась жить собственной жизнью.

notes

Примечания

1

Опубликована в России в 1987 г. издательством «Эрмитаж». — Примеч. авт.

2

Переиздан в 1994 г. в Эстонии издательством «Нутус». — Примеч.
авт.

3

Чарльз Крейн — активный филантроп, имевший давние связи с Россией и всем русским. В 1896 г. Крейн организовал в России свое собственное дело, «Крейн Компани », а также крупное совместное предприятие «Вестингхаус». Он был инициатором изучения русского языка на своей родине — Среднем Западе США, в Чикагском университете; в 1917 г. стал доверенным советником Вудро Вильсона в деле признания Временного правительства в Петрограде. «Крейн, — писала Д.-Х. Пер-ман, — любил Россию и видел в ней гостеприимную, щедрую, мирную христианскую нацию с демократическими наклонностями, искренне стремящуюся к либеральным реформам» (Peace & Change. II. No. 2. Summer 1974). — Примеч. авт.

4

«Чураевка» — литературное объединение, основанное в 1926 г. в Харбине и ставшее одним из наиболее значительных центров русской культуры в дальневосточной диаспоре. В книгах инициатора «Чураевки» поэта Алексея Ачаира «Первая» (1925) и «Лаконизмы» (1937) определились главные мотивы и побудительные стимулы творчества участников объединения — тоска по России, стремление сохранить определяющие черты русской культуры и духовности в годы тяжкого испытания. Название «Чураевка» Ачаир позаимствовал из романа сибирского прозаика-эмигранта Г.Д. Гребенщикова (1883-1964) «Чураевы» (1922), где описана группа молодых людей, жителей деревни Чураевка, которые объединяются для совместной творческой работы. Основой «Чураевки» была поэтическая студия, во главе которой стоял Н.А. Щеголев. С 1932 г. она выпускала литературное приложение к местной англоязычной газете «Молодая Чураевка», а затем собственную газету «Чураевка». Редактировал эти издания начинающий поэт В.Ф. Перелешин, чья первая книга стихов «В пути» (1937) также вышла в Харбине. Часто стихи и проза «чураевцев» появлялись в еженедельном харбинском журнале «Рубеж». Столкнувшись с откровенным давлением японских властей, стремившихся подчинить весь русский Харбин своему влиянию, часть участников «Чураевки» в 1934 г. решает перебраться в Шанхай. После Второй мировой войны «чураевцы» оказались разбросанными по свету: одни обосновались в США и Австралии, других депортировали в СССР, где они были подвергнуты репрессиям. — Примеч. пер.

5

YMCA (Young Men Christian Association) — международная организация Христианский союз молодых людей. — Примеч. пер.

6

Иванов Всеволод Никанорович (1888-1971) — философ, писатель, журналист. Летом 1918 г. В.Н. Иванов был назначен младшим ассистентом по кафедре энциклопедии права Пермского университета, а в июне 1919 г. его вызвал к себе в Омск уехавший туда раньше профессор Пермского университета Н.В. Устрялов. Вскоре в Омск прибыл и практически весь профессорско-преподавательский состав университета. 1 июля Пермь заняли красные, и волна беженцев покатилась в Сибирь. Омск, Томск, Иркутск и дальше, в Китай. Так Иванов оказался в Китае, где сотрудничал в русских газетах и журналах Харбина («Свет», «Русское слово») и Шанхая («Понедельник» и др.). В Харбине Иванов был главным редактором русской газеты «Гунбао». Уехав в Шанхай и получив советское гражданство в 1931 г., он работал в местном отделении ТАСС. Одна из наиболее значительных работ Иванова зарубежного периода «Мы. Культурно-исторические основы российской государственности» (Харбин, 1926) принадлежит к жанру философско-исторической публицистики. Иванов проявил себя евразийцем с весьма крайними («азийскими ») взглядами. В феврале 1945 г. Иванов вернулся в СССР, обратился к удававшемуся ему жанру хроники и, по мнению критиков, занял заметное место в отечественной исторической романистике. К числу выдающихся исторических произведений Иванова принадлежат «Черные люди» (М., 1963), «Императрица Фике» (М., 1968), «Александр Пушкин и его время » (Хабаровск, 1970). — Примеч. пер.

7

Ачаир (наст, имя и фам. Грызлов Алексей Алексеевич; 1896—1960) — поэт. Родился в семье казачьего полковника в Омске в 1896 г., окончил кадетский корпус с золотой медалью и поступил в Сельскохозяйственную и лесную академию, окончить которую помешала революция. Он стал участником Белого движения в Сибири, попал в Харбин, где издал пять книг своих стихов. В 1945 г. он был арестован и увезен в СССР отбывать десятилетний срок заключения на Крайнем Севере, после освобождения жил в ссылке в Сибири. — Примеч. пер.

8

Несмелов Арсений Иванович (наст. фам. Митропольский; 1891-1945) — поэт, прозаик, журналист, мемуарист. С 1920 г. занимался литературным трудом в Приморье, эмигрировал в Маньчжурию. После вступления советских войск в Харбин в 1945 г. попал в число 15 ООО русских, вывезенных в СССР. Умер в сентябре 1945 г. в пересыльной тюрьме в Гродеково. — Примеч. пер.

9

Логинов Василий Степанович (1891-1945 или 1946) — поэт, прозаик. Родился в Екатеринбурге в семье знаменитых уральских купцов-золотопромышленников, закончил в 1913 г. юридический факультет Петербургского университета, в Харбин попал в 1923 г., работал на железнодорожном топливном складе сторожем. В последние месяцы жизни его часто вызывали на допросы в НКВД — все русские эмигранты прежнего Харбина, особенно не рабоче-крестьянского происхождения, подпадали под подозрение. Между тем сам Логинов был совершенно далек от политики и никак не унаследовал таланты своих родителей в области коммерции. Большинство своих харбинских лет прожил в совершенной нищете. В Китае у него вышел сборник рассказов о сибирском фольклоре и быте «Ял-Мал», сборник новелл «Сибирь», книга стихотворений «Створы триптиха». Опубликовал книжку фельетонов о русских в Харбине под псевдонимом «Капитан Кук». — Примеч. пер.

10

Перелешин Валерий Францевич (наст. фам. Салатко-Петрище; 1913-1992) — поэт. В 1920 г. с матерью эмигрировал в Харбин, позже жил в Пекине и Шанхае. В 1952 г. переселился в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Один из самых плодовитых и одаренных поэтов, сложившихся уже в эмиграции. — Примеч. пер.

11

Обухов Василий Алексеевич (1905-1949) — поэт; был известен в русских литературных кругах Харбина и Шанхая как «Дальневосточный Гумилев». На конкурсе, объявленном Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи, - получил первую премию за свои стихи. Почти всю жизнь прожил в Харбине, окончил Юридический факультет, в 1941 г. издал свою единственную поэтическую книгу «Песчаный берег». После вступления в Маньчжурию советских войск был увезен в лагерь, откуда ему каким-то образом удалось выбраться. — Примеч. пер.

12

Щеголев Николай Александрович (1910-1975)— поэт, прозаик, журналист. Родился в Харбине. Участник движения младороссов. В 1947 г. уехал в СССР, преподавал историю русской литературы в консерватории г. Свердловска. — Примеч. пер.

13

Запретный город — «Гугун», дворцовый комплекс в Пекине. — Примеч. пер.

14

Британские волонтеры — члены местного вооруженного формирования, состоявшего из добровольцев-иностранцев. Формирование находилось под британским командованием и снабжалось британской военной формой и оружием. Вооруженные формирования иностранцев появились на иностранных концессиях Китая после боксерского восстания, во время которого иностранцы в Китае подвергались нападениям и убийствам. Добровольные вооруженные формирования иностранцев создавались для самозащиты от возможного нападения китайцев. Работодатели поощряли вступление своих служащих в добровольные вооруженные формирования иностранцев. Британские волонтеры в Тяньцзине обязаны были периодически принимать участие в воинских занятиях, походах и дежурствах. — Примеч. коне. пер.

15

«Партизан Ревью»... приложение к газете «Нью-Йорк Тайме» — литературные журналы. — Примеч. пер.

16

В то время в американских аптеках были кафетерии. — Примеч.
пер.

17

Вероятно, речь идет о труппе «Американский балет» (с 1948 г. — «Нью-Йоркский городской балет»), созданной на основе «Школы американского балета» Дж. Баланчина. — Примеч. ред.

любовь, двадцать, сорок, равный счет (англ.). — Примеч. ред.